

Дональд
Рейфилд

СТАЛИН И ЕГО ПОДРУЧНЫЕ

18+

ИЗДАТЕЛЬСТВО
КОЛИБРИ



Дональд Рейфилд

Сталин и его подручные

2008, 2017

УДК 351.746.1(091)(470+571)"19"
ББК 63.3(2)6-36

Рейфилд Д.

Сталин и его подручные / Д. Рейфилд — 2008, 2017

ISBN 978-5-389-14001-1

Известный британский историк и литературовед, автор бестселлеров «Грузия. Перекресток империй. История длиной в три тысячи лет» и «Жизнь Антона Чехова», предлагает детальный анализ исторической эпохи и личностей, ответственных за преступления, в которых исчезли миллионы людей, «не чуявших под собой страны». Руководители печально знаменитой Лубянки — Дзержинский, Менжинский, Ягода, Ежов, Берия — послушные орудия в руках великого кукловода — «человека с усами», координатора и вдохновителя невероятных по размаху репрессий против собственного народа.

УДК 351.746.1(091)(470+571)"19"

ББК 63.3(2)6-36

ISBN 978-5-389-14001-1

© Рейфилд Д., 2008, 2017

Содержание

Предисловие	5
1. Долгая дорога к власти	10
Детство и семья	10
Быть грузином	17
Сталин как мыслитель	21
Посвящение в политику	25
Тюрьмы и ссылки	32
Одинокий садист	39
2. Сталин, Дзержинский и ЧК	45
Перед захватом власти	45
Феликс Дзержинский: первые сорок лет	47
Чрезвычайная комиссия	54
Поляки, латыши и евреи	57
Чекист как интеллигент и организатор	61
Сталин и Дзержинский: тандем	69
От ЧК к ГПУ	77
3. Изысканный инквизитор	81
Ложная заря	81
Запоздалое возвышение Вячеслава Менжинского	83
Репрессии против крестьян и интеллигентов	89
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Дональд Рейфилд

Сталин и его подручные

Allen Knechtschaffenen

*An alle Himmel schreib ich's an,
die diesen Ball umspannen:
Nicht der Tyran ist ein schimpflicher Mann,
aber der Knecht des Tyrannen.*

Всем поработенным

*Пишу на всех небесах,
Которые простираются над нашим земным
шаром:
Мы должны ругать не тирана,
А холопа, который работает на тирана.*

Христиан Моргенштерн¹

Предисловие

Вместо того чтобы написать заново биографию Сталина или историю СССР, я попытался исследовать путь Сталина к власти, те средства и тех людей, которые давали ему возможность держать эту власть в руках. Главная наша тема – карьера и личности приспешников Сталина, особенно тех пятерых, которые возглавляли службу безопасности и тайную полицию, известную нам под целым рядом названий: ЧК (Чрезвычайная комиссия), ГПУ и ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление), НКВД, МВД (Народный комиссариат, затем Министерство внутренних дел), МГБ (Министерство государственной безопасности). После смерти Сталина министерство стало «комитетом» и продолжает свое существование как ФСБ.

Из этих пятерых (Феликс Дзержинский, Вячеслав Менжинский, Генрих Ягода, Николай Ежов и Лаврентий Берия) Сталин лично назначил только последних двух. Первых трех, назначенных до него, он страхом, расчетом, обманом или обаянием подчинял себе. Они стали орудиями личности, чьи мысли были еще более чудовищными, чем их собственные. Сталин ставил цель. Им приходилось искать средства. Изучая их деятельность и то, чем она мотивировалось, мы проливаем яркий свет на сталинскую тиранию.

Нюрнбергский процесс утвердил важнейший принцип: нельзя отклонить от себя обвинения в преступлениях против человечества тем, что ты выполнял чужие приказы. Даже если бы неповиновение имело летальный исход, подчинение приказу имеет не только юридический, но и нравственный аспект. Приспешникам Гитлера или Сталина не хватало твердой общественной или нравственной основы, которая дала бы им возможность не повиноваться. Книга Даниэля Гольдхагена «Добровольные палачи Германии» – сильно раскритикованное, но важное исследование – доказала, во-первых, что большей части немецкого населения было известно, что евреев уничтожают, и, во-вторых, что тех, кто принимал участие в геноциде, не заставляли под дулом револьвера становиться убийцами. Применительно к Советскому Союзу тезис Гольдхагена нужно пересмотреть. Тот, кто отказывался участвовать в охоте на врагов, действительных или призрачных – буржуев, троцкистов, бухаринцев, диверсантов, фашистов, сионистов, – сам становился таким же врагом, подлежащим

уничтожению. Тем не менее были случаи и целые сферы деятельности, где оставался какой-никакой моральный выбор, особенно для интеллигентов, получивших воспитание и образование, усвоивших элементарные нравственные нормы и профессиональные принципы. Хотя после революции они, по общему признанию, стали верными слугами нового государства, о преступлениях этого нового государства они должны были знать и догадываться. Как и в нацистской Германии, в Советском Союзе некоторые интеллигенты не сдавались, несмотря на лишения, угрозы, пытки и казни. Но почему их было так мало; почему Сталину, опирающемуся на поддержку группы фанатиков, циников, садистов и моральных уродов, никогда не приходилось бороться с настоящим сопротивлением?

В подчиненных Сталин особенно ценил способность выбирать кадры. Сам он был блестящим руководителем кадровой службы. Не только шефы тайной полиции, но и иные его назначенцы, особенно после 1930 г., когда Сталину уже не нужно было договариваться с другими политиками, оказались такими же беспощадными и жестокими, как Дзержинский и его наследники. Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович и Клим Ворошилов подписывали тысячи расстрельных списков. Без их безраздумной преданности Сталин не смог бы достичь своих целей.

Сравнительные исследования судьбы Сталина и Гитлера часто вводят в заблуждение. Их пути во многом расходятся, и различия между ними так же поразительны, как и сходства. Нацисты образовали симбиоз с немецкими капиталистами и немецкой армией.

Их убийственная агрессия направлялась на чужих: евреев и славян, гомосексуалистов и коммунистов. Средний немецкий гражданин, если закрывал на все глаза и не слишком задумывался, мог жить такой же спокойной жизнью, какой жил при нормальном режиме (если не считать ужасов последних военных лет). Сталин направил ненависть на своих же. Он воевал против соседей только тогда, когда был (ошибочно или нет) убежден в легкой победе, и без всякого колебания истреблял своих генералов, свою партию, свой народ, даже собственную семью – всех тех, от кого, казалось бы, зависело его личное экономическое и политическое благополучие. В расчетах Гитлера, какой бы тошнотворной она ни была, есть логика: геноцид и блицкриг объединили народ и создали для него цель жизни. Политика Сталина затягивала других в трясину его психопатологии. Безнравственный, честолубивый, но психически нормальный интеллигент Альберт Шпеер без труда смог присоединиться к Гитлеру. Чтобы стать соратником Сталина, такого простого расчета было недостаточно: в задачу должны были действовать смертельный страх, садизм, моральное уродство или шизофренические иллюзии.

У каждой страны есть историческое наследие, от которого ее гражданам трудно отказаться. Нельзя свести бедствия России в XX в. к последствиям варварского феодального строя, низвергнутого стихийным насилием. Правда, в 1900-х и 1910-х гг. экономика России отставала от Западной Европы, и ее политический строй трещал по швам. Но культура, которая дала миру Достоевского и Толстого, рождала историков, издателей, журналистов, философов, юристов, врачей, государственных мужей не меньше, чем в любой передовой стране мира. Средний класс, пусть и относительно малочисленный, был хорошо образован и влиятелен; дворянство и купечество не теряли своей целостности. Можно сказать, что если в XIX в. жизнь в России и была грубее и невежественнее, чем в Англии или во Франции, то не намного.

Мучения, которым подвергали невинных людей в СССР, не являются монополией тоталитарных режимов. Разница в том, что советские преступники совершали преступления у себя дома и жертвой был собственный народ. Британцы проявляли зверство далеко от родины: строили концлагеря в Южной Африке, в Кении, на Андаманских островах или добывали олово силами африканских рабов. Бельгийский король Леопольд убил и искалечил – в относительном исчислении – примерно столько же конголезцев, сколько Сталин –

советских граждан. Закон для всех людей один: абсолютная власть развращает абсолютно, и, когда мировая война, голод и эмиграция разрывают ткань, на которой держатся общественные связи, абсолютная власть оказывается в руках того, кто первый ее захватывает.

Историки черпают свои теории из целого комплекса наук: возможно, они недостаточно знают зоологию. Ни с чем не сравнится насилие в большой стае шимпанзе или бабуинов, руководимой самцом-вожаком, когда пищи или территории не хватает. Жизнь, выражаясь словами Томаса Гоббса, «одинока, бедна, гадка, жестока и коротка», когда общество лишается того сложного равновесия сил – судебной системы, армии, исполнительной власти, общественного мнения, религии, культуры, – которые сдерживают не только друг друга, но и анархию и тиранию. Несчастье России и Германии заключалось в том, что злые гении, Ленин и Гитлер, захватили власть именно тогда, когда мировая война и статус парии в мировом порядке привели их страны к полной разрухе. Но даже в стабильном обществе, не знавшем ни войны, ни бедности, можно в любом маленьком городе завербовать достаточно людей для службы в Освенциме. Этот факт доказал американский психолог Стэнли Милграм в 1960-х гг.: в ходе эксперимента он без труда уговорил две трети добровольцев из публики исполнять приказы мнимых ученых в белых халатах, требовавших применять якобы летальную шокотерапию к мнимым подопытным, если те неправильно отвечали на вопросы.

В Германии никто, кроме горсточки умалишенных, не отрицает, что был холокост, в котором погибло шесть миллионов евреев. Последний образованный «историк», который всерьез отрицал назначение Освенцима, англичанин Дэвид Ирвинг, недавно отсидел срок в австрийской тюрьме. Его выступления, впрочем, производят хоть какой-то положительный эффект: они заставляют настоящих историков рыться в архивах и излагать факты еще более убедительно, чтобы Ирвинг окончательно замолк. Но в России и даже в других странах еще слышны голоса тех, кто утверждает или намекает, что никакого сталинского геноцида не было, а если и был, то его плохие стороны сильно преувеличены. Чтобы перекрыть такую разноголосицу вранья, историк должен постоянно напоминать о том, как все было на самом деле.

Многим нацистским убийцам удалось улизнуть от нюрнбергских судей, но тем не менее Нюрнбергский трибунал начал процесс реабилитации для Германии. В СССР, несмотря на расстрел Берия и дюжины его приспешников, доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС в феврале 1956 г., население никогда не оказывалось лицом к лицу с преступлениями своей истории. Виновников сталинских убийств никогда не заставляли признаться или раскаяться в преступлениях; их даже не всегда отстраняли от власти. Несмотря на перестройку и распад Советского Союза, сталинизм остается застарелым заболеванием в политическом организме России; эта болезнь может вспыхнуть в любое критическое время. Первой причиной, по которой написана эта книга, стала необходимость рассмотрения фактов с новой точки зрения; второй – лавина документальных материалов. Как и нацисты, сталинские палачи и чиновники оставили после себя огромную гору бумаг и фотографий – свидетельств самых позорных их преступлений. В 1989 г. архивы, еще почти целиком под ведомственным присмотром КГБ, начали рассекречивать свои материалы и разрешать посторонним ограниченный доступ. В начале 1990-х гг. доступ расширился: даже Президентский архив и Кузнецкий Мост приоткрывали свои двери. Большей частью новое поколение исследователей искало и находило ценные документы в Российском государственном архиве социально-политической истории (в 1990-х называвшемся Российским центром хранения и изучения документов новейшей истории) и в Государственном архиве Российской Федерации. В конце ельцинской эпохи начался откат. Некоторые архивы полностью или частично закрыты, другие переехали на окраину города и сильно ограничили доступ.

Моя собственная исследовательская работа была сосредоточена в упомянутых архивах, в Российском государственном архиве литературы и искусства и в менее известных – Грузинском государственном архиве, Гуверовском институте, куда недавно переправлено то, что осталось от архива Нестора Лакобы. Вообще сохранилось достаточно материала для тысячи исследователей с тысячей ноутбуков на тысячу лет; очень многое еще не раскрыто, особенно учитывая, сколь плохо в архивных путеводителях и каталогах отражено реальное содержание хранилища.

К счастью, за последние двадцать семь лет несколько десятков самоотверженных и часто малопризнанных российских историков издали несколько сотен книг и несколько тысяч статей. Некоторым из них я очень обязан материалом и идеями и стараюсь в библиографии и в примечаниях отсылать читателя к первоисточникам. Из всех публикаций, может быть, самые важные и убедительные – никому не доступные раньше записи и стенограммы заседаний ЦК, обсуждений в политбюро, телеграмм, телефонных разговоров, писем, особенно от Сталина и Сталину, переписки между приближенными Сталина. Приговоры НКВД, протоколы допросов, биографические сведения, переписка интеллигенции, дневники, доклады ОГПУ и НКВД об общественном мнении и подслушанных разговорах тоже открывают доступ во внутренний мир сталинских палачей.

Тем не менее, пользуясь статьями и книгами историков, нельзя упускать вероятность пристрастного суждения и других субъективных факторов. Историков, российских и зарубежных, можно подразделить на несколько категорий. Самую малочисленную и достойную составляют историки, которые излагают материал как можно объективнее и оценивают, не упорствуя в своем мнении, весомость каждого аргумента и факта, причину каждого поступка и события. Такими историками являются, например, Олег Хлевнюк и Александр Кокурин, Александр Островский (автор замечательной работы «Кто стоял за спиной Сталина?»), Константин Залесский, который составил биографическую энциклопедию «Империя Сталина»; Марк Янсон и Никита Петров, биографы Ежова; Константин Скоркин, в соавторстве с Никитой Петровым составивший биографический справочник «Кто руководил НКВД, 1934–1941»; Майкл Парриш, который вслед за Робертом Конквестом, автором книги «Большой террор» («The Great Terror») написал «Малый террор» («The Lesser Terror»).

Вторая группа историков, более популярных, обрабатывает архивные источники, чтобы получилось хорошее повествование: среди них можно назвать Леонида Млечина, Кирилла Столярова, Аркадия Ваксберга, Виталия Шенталинского, Бориса Соколова, покойного Дмитрия Волкогонова.

Третья группа, чьи книги не менее полезны, состоит из тех, кто лично был вовлечен в события как жертва, родственник жертвы, а то и как виновник происшедшего или его родственник. У них есть доступ к сведениям, закрытым для других. Конечно, некоторыми из них движут личные побуждения, иногда корыстные.

У бывших сотрудников КГБ есть уникальные источники, но они не всегда способны смотреть правде в глаза или признаваться в ней.

Есть и четвертая группа, к работам которой нужно относиться с крайней осторожностью. Это историки, на чьи труды влияют их идеологические убеждения. Некоторые из них, например покойный Вадим Роговин, пишут много и красноречиво, находя всю вину Сталина в том, что он предал ленинизм-троцкизм. Валерий Шамбаров использует свои знания, чтобы доказать, что весь XX век Россия была жертвой коварного предательства Запада.

Западные историки по ряду причин отстают от своих российских коллег. Даже более спокойный образ жизни не всегда помогает. Тем не менее им есть чем гордиться. Даже спустя сорок лет «Большой террор» Конквеста остается классикой; хотя у автора была крошечная доля сегодняшних источников, он почти все верно угадал (он мог бы назвать последнее издание «Говорил же я вам!)). Хроника Кэтрин Мерридэйл «Каменная ночь» и книга

Саймона Сибага-Монтефиоре «Молодой Сталин» свидетельствуют, что западные исследователи иногда так же прозорливы, как и российские.

Последняя, позорная, категория историков – это те, кто оправдывает и прославляет Сталина. Как и люди, документы и фотографии подчас лгут. А слухи и пересуды иногда отражают правду. Есть загадочные смерти: убийство Фрунзе, Кирова, Орджоникидзе, – до сих пор не до конца раскрытые; есть вопросы без твердого ответа, например, насколько Николай Ежов был слепым исполнителем сталинской воли, в какой мере весной 1953 г. Берия превратился из чудовищного садиста в предвестника Горбачева и Шеварднадзе. Здесь историк уподобляется присяжному: он должен опираться на интуицию, ибо формальной юридической логики мало, чтобы решать такие вопросы. В традициях суда присяжных я и пытаюсь обозначить степень моей уверенности в виновности обвиняемого. Первое место занимает приговор «не подлежит разумному сомнению», то есть уголовное судопроизводство объявило бы Сталина и Абакумова виновными в убийстве Соломона Михоэлса; на втором месте стоит приговор «по всей вероятности», достаточный, чтобы решить дело в гражданском суде, – например, ответственность Берия за насильственную смерть Нестора Лакобы. Затем следуют дела, в которых улики и показания требуют судебного разбирательства, но приводят к оправданию обвиняемого (например, предполагаемый замысел умирающего Сталина окончательно выдворить всех евреев из европейской части России). На четвертом месте стоят обвинения, которые не подтверждаются никакими вещественными доказательствами, так что предъявлять Сталину обвинение в убийстве Кирова уже не имеет смысла. Наконец, есть дела, где мы можем только довольствоваться итальянской поговоркой «*se non è vero, è ben trovato*» («если это не правда, все-таки хорошо придумано»), – например, утверждение Молотова, что не кто иной, как маршал Тухачевский, готовил государственный переворот.

Я должен поблагодарить стольких российских специалистов и архивистов за помощь, советы, терпение, что всех перечислить невозможно. В Грузии я многим обязан Ревазу Кверенчхладзе, архивисту Союза писателей, и Мемеду Джихашвили, хранителю и спасителю архива Лакобы; в Москве мне очень помогали сотрудники «Мемориала» и в Петербурге составители «Ленинградского мартиролога». Кроме них следует отдельно назвать Оlyу Макарову, Вику Мусвик и друзей, которые отыскивали самые неуловимые газетные публикации. С текстами на латышском и с источниками в Латвии мне помогал Борис Равдин. Больше всего и во всем – от языка до идеологии – помогала мне Анна Пилкингтон, с ее даром объективного критического суждения. Я очень благодарен русским друзьям, особенно Анне Киселевой, присылавшим мне новые книги и материалы.

Эта книга фактически представляет собою вольный, сделанный самим автором перевод английской монографии, изданной в 2004 г. Замеченные (иногда переводчиками на другие языки) ошибки и глупости устранены, учтены неизвестные ранее подробности из российских и иностранных публикаций последних трех лет. Готовя книгу для русского читателя, я внимал совету дяди Вани и старался, в отличие от профессора Серебрякова, не писать «о том, что умным давно уже известно, а для глупых неинтересно».

Второе русскоязычное издание этой книги мало чем отличается от первого. Добавлены некоторые подробности из недавно рассекреченных допросов Лаврентия Павловича Берия с июня по ноябрь 1953 г.; убраны из предисловия кое-какие ставшие уже несвоевременными замечания.

1. Долгая дорога к власти

*Ныне, о муза, воспой Джугашвили, сукина сына.
Упорство осла и хитрость лисы совместил он
умело. Нарезавши тысячи тысяч петель,
насилием
к власти пробрался (1).*

Павел Васильев

Детство и семья

*Вместо того чтобы говорить вроде: «Х. воспитали крокодилы в
помойной яме в Куала-Лумпуре», рассказывают о матери, отце...
Мартин Эмис. Грозный Коба²*

В Российской империи 1878 г., казалось бы, был благополучным, и можно было родить ребенка без особого опасения. И хотя грузины всех званий и сословий роптали на своих русских правителей, уже сто лет прошло с тех пор, как грузинский царь отдал свое подорванное государство в руки русских царей, и страной теперь управляли русские чиновники, часто бесчувственные, коррумпированные и невежественные, а в школах грузинских детей обучали на русском языке. В Тифлисе русский наместник, хотя и был гуманным либералом, твердо держал в руках бразды правления, чтоб не допустить никаких изменений, – армяне владели торговлей, иностранные капиталисты – промышленностью, а грузинские дворяне и крестьяне, редко появляющиеся в столице, жили вполне сносной жизнью в деревне.

Грузия могла благодарить Бога за русскую власть. Уже почти сто лет она была свободна от немилосердных соседей, которые своими нашествиями и набегами за шестьсот лет разорили страну и поставили ее на край пропасти. Россия угнетала народ налогами, ссылкой в Сибирь, культурным унижением, но, в отличие от турок, русские не уничтожали мужское население целых деревень и, в отличие от персов, не угоняли тех, кто выжил после массовых убийств, чтобы оскопить, поработить и обратить в мусульманство. Под властью царей грузинские города восстали из руин, железная дорога объединила запад и восток страны и дала Грузии надежный доступ к остальному миру. В столице издавали газеты, слушали оперу – хотя университета еще не было. Новое поколение грузин, свободно говорящих по-русски, осуществило мечту предков: на них смотрели как на европейцев, они учились в европейских университетах, становились врачами, юристами, дипломатами – и революционерами. Грузины начинали мечтать о независимой государственности, хотя лишь немногие верили, что насилием или оружием можно бороться за независимость. Против собственной воли грузины мирились с русской властью, благодаря которой они вышли из сферы азиатской истории и получили доступ к европейской культуре.

Петербуржцы конечно же совсем иначе воспринимали события 1878 г.: кончилась эпоха реформ и оптимизма, и страна, казалось, начала колебаться между анархией и тиранией. Террористы, которые через три года убьют Александра II, уже совершили первые убийства. Кончился медовый месяц интеллигенции и правительства. Семена революции всходили не на почве обездоленного крестьянства, не в трущобах городских рабочих, а среди

² Перевод Д. Рейфилда.

образованных, но недовольных детей дворянства и духовенства. Некоторые требовали не только гражданских прав и конституции – они готовились разрушить государство. Такие фанатичные заговоры в России не были обязательно фантастическими. Гораздо легче разрушить негибкую политическую систему, чем преобразовать ее. Русское государство было так построено, что хорошо подложенной бочкой с динамитом или метко нацеленным револьвером, истребляя немногочисленных великих князей и министров, его можно было сразу сокрушить. Слабость Российской империи состояла в ее непрочной социальной ткани: государство держалось только вертикалью власти от царя до последнего жандарма. В Великобритании или Франции общество укрепляла плотная ткань из разных сословий и учреждений – законодательная власть, юриспруденция, церковь, местная администрация. В России же, где подобные институты или только зарождались, или уже вымирали, такой опоры у власти не было.

Те, кто убил Александра II, поколение революционеров – предшественников Ленина, понимали всю слабость государства. Им недоставало только поддержки народа, и они пока не надеялись его взбунтовать. С точки зрения иностранного наблюдателя, Россия в 1880-х гг. уже была в застое, уже отставала от остального мира, и ее правители казались бессердечными циниками, но изнутри страна выглядела стабильной. Репутации России вредили эпидемии, погромы, голод. Десять лет назад Европа начала любоваться не только военной мощью России, но и ее культурой: Франция и Германия зачитывались Тургеневым и Толстым. В 1880-х гг. последними доказательствами, что Россия – цивилизованная страна, были только музыка Чайковского и химия Менделеева. Но в застое есть покой. За всю историю Российского государства не было такого длительного периода мира: целое поколение спокойно выросло от победы над Турцией в 1877 г. до начала войны с Японией в 1904 г.

Когда 6 декабря (по старому стилю) 1878 г. в уже расцветавшем городе Гори в шестидесяти километрах к западу от Тифлиса родился Иосиф (Иосеб, Сосо) Джугашвили, настроенная масса ремесленников, купцов и интеллигенции была довольно оптимистична³. Мальчик даже из семьи со скромным доходом мог получить образование, которое сделает из него русского дворянина. Мало кто согласился бы с пророчествами Достоевского или Владимира Соловьева, предвидевших, что через сорок лет наступит такая кровавая и зверская тирания, что по сравнению с ней нашествия Чингисхана или Надира-шаха на Грузию покажутся пустяками. И никто не чуял, что именно маленький Джугашвили, под псевдонимом Сталин, будет олицетворением этой тирании и возьмет ее под собственный контроль.

Для семьи, в которой родился Сосо, так же как для их соседей, будущее казалось безоблачным. В 1878 г. сапожнику Бесариону Джугашвили было 28 лет; он был хорошим преуспевающим ремесленником, который трудился на благо семьи. Уже шесть лет он был женат на Катерине (Кеке), урожденной Геладзе. На шесть лет моложе мужа, Кеке была крестьянкой, которая много хотела для своих детей. В детстве она лишилась отца, и ее взял к себе дядя по матери, Петре Хомуридзе. В 1850-х гг. Хомуридзе были крепостными из деревни Меджрохе, неподалеку от Гори. После крестьянского освобождения в 1861 г. Петре оказался предприимчивым отцом семьи, воспитывая собственного ребенка и троих детей своей второй сестры. Братья Кеке, Сандро и Гио, стали, соответственно, гончаром и плиточником, так что, когда Кеке вышла замуж за сапожника, крестьян в семье Геладзе больше не осталось. Кеке неплохо воспитали, дед ее научил, хоть с грехом пополам, грузинской грамоте. Она хотела, чтоб ее сын поднялся еще выше. Первые два сына семьи Джугашвили умерли вскоре

³ В метрической книге горийской Успенской церкви (архив МВД Грузии, ф. 6, оп. 1, д. 193) записано дьяконом Хахановым, что 17 декабря крестили Иосеба (рожденного 6-го числа), сына горийского крестьянина Бесариона Иванэс дзе Джугашвили и его законной жены Екатерины Габриэлис асули, обоих православного исповедания, что крестным отцом был Михеил Шиос дзе Цихитаришвили и свидетелями – дьякон Хаханов и причетник Квиникадзе.

после появления на свет. Третьего, пережившего старших братьев, по традиции надлежало обетовать Богу: он должен был стать духовным лицом.

Со стороны отца, казалось, семья Джугашвили тоже поднималась из бедности и невежества. Прадед, Заза Джугашвили, крепостной, жил недалеко от Гори, в деревне со смешанным осетиногрузинским населением. Он участвовал в бунте против властей, но избежал наказания и с помощью сердобольного князя нашел убежище в наполовину заброшенном селе Диди-Лило, в горах к северу от Тифлиса. Его сын Вано был владельцем виноградника, да и внукам Гиорги и Бесариону судьба будто бы улыбалась. Гиорги стал хозяином харчевни, но тут его карьера оборвалась – его убили бандиты. Младший брат, Бесарион, должен был спуститься в город и стать подмастерьем у армянина-сапожника. Бесарион был грамотный, говорил по-армянски, по-азербайджански и по-русски и скоро смог стать на ноги. Переехал он в Гори независимым ремесленником.

Одна треть великих правителей, художников, писателей переживает в детстве смерть, банкротство или болезнь отцов. Подобно Наполеону, Диккенсу, Ибсену или Чехову, Сталин – сын человека, который на полпути вверх сорвался вниз. Почему Бесарион Джугашвили стал неудачником, когда все и всё, казалось, благоволили его успеху? Современники мало помнили или вспоминали о нем. Говорили, что семья никогда не нуждалась, не закладывала и не продавала вещей. Зато Нико Тлашадзе вспоминал: «Когда приходил отец Сосо Бесо, мы избегали играть в комнате. Бесо был очень своеобразным человеком. Он был среднего роста, смуглый, с большими черными усами и длинными бровями, выражение лица у него было строгое. Ходил всегда мрачный. Носил короткий карачогельский архалук и длинную карачогельскую черкеску, опоясывался узким кожаным поясом...» Неужели единственной причиной упадка, когда в 1884 г. (Сосо еще не было шести лет) Бесарион разорился, был тяжелый характер? За последующие десять лет семья переселялась девять раз. Сапог никто не заказывал; Бесо запил.

Весной 1890 г. Бесо и Кеке разошлись. Это был последний год, когда Сосо общался с отцом. В начале года он попал под карету, и родители повезли его в Тифлис на операцию. Бесарион нашел там работу на большом кожевенном заводе Адельханова; как только мальчика выписали из больницы, Бесо заставил его работать с собой на фабрике и потом выбрать: или стать подмастерьем сапожника в Тифлисе, или с проклятием отца вернуться в Гори к матери и учиться на священника. Осенью этого года Сосо вернулся в Гори, чтобы учиться в духовном училище. Бесо приехал в Гори всего раз, тщетно умолял жену о примирении, а потом исчез. Кеке его больше не увидела, а к сыну он потом в Тифлисе заходил очень редко. Он стал бродягой-алкоголиком. 12 августа 1909 г. его перенесли из ночлежки в больницу, где он вскоре умер от цирроза печени. Его хоронил товарищ сапожник; место захоронения неизвестно (2).

Грузинам и сталинистам трудно поверить в столь низкое происхождение Сталина. Утверждают, будто он был незаконным сыном и будто бы Бесо ушел от неверной жены и ее отпрыска. Предлагают двух кандидатов на место «отца вождя народов» – Николая Пржевальского, исследователя Центральной Азии, и князя Егнаташвили. В самом деле, Сталин внешне похож на Пржевальского, но великий путешественник был гомосексуалистом-женоненавистником и в те дни, когда Сталин был зачат, находился в бивуаке на китайской границе. Действительно, два брата Егнаташвили, родственники того священника, который крестил мальчика и обвенчал его родителей, и того князя, в доме которого брошенная Кеке работала прачкой, удивительно благополучно выжили в советские времена. Но такие случаи были нередки и ничего не доказывают. Сталина часто обзывали сыном шлюхи, но в переносном смысле, не буквально. Прелюбодеяние и незаконное рождение в маленьком грузинском городе – редчайшее явление, и Кеке вела себя по тогдашним нравам нормально.

Сталин не любил, чтобы биографы копались в его происхождении. Особенно избегал он разговоров об отце. Только в 1906 г. он дал понять, что признает отца, взяв себе на этот год псевдоним Бесошвили. Влияние матери длилось дольше. От нее Сталин унаследовал упорство в достижении целей. Обездоленная, брошенная, постоянно в поисках чердака подешевле, из мещанки ставшая чернорабочей, она тем не менее смогла накопить деньги и уговорить власть имущих, чтобы сына приняли в хорошую школу. Судя по скудным рассказам, она была сына не менее жестоко, чем отец, но цель ее была благороднее. Набожность и инстинкт подсказывали ей, что только через образование, особенно духовное, сын пробьется в мир. Единственное оставшееся ее письмо к Сталину, написанное в 1920-х гг., показывает, что у них в характере было много общего: «Дорогой мой ребенок Иосеб, первым делом я шлю тебе любящий привет и желаю тебе с семьей долгую жизнь и хорошего здоровья. Дитя, хочу, чтоб природа дала тебе полную победу и уничтожение врага... Будь победителем!»

Вряд ли Сталин любил свою мать, но он к ней благоволил. Он писал ей короткие записки и иногда дарил деньги. В 1930-х гг. в Тбилиси видели, как Кеке, вдова в черном, ходила со скромной корзинкой на колхозный рынок, а за ней, по инициативе не Сталина, а Лаврентия Берия, шел целый отряд ребят из НКВД. В 1920-х и 1930-х гг. Сталин посещал мать три раза. На похороны он послал венок, но не приехал.

Все, кто встречался со взрослым Сталиным, поражались его самодостаточности и затворничеству. Можно приписать эти навыки тому, что Сталин был единственным сыном у одинокой женщины, попавшей в беду, но трудно сказать, что его детство было такое одинокое, чтобы сделать из мальчика психопата. То, что можно узнать о детстве Сталина, не соответствует такому представлению. Джугашвили продолжали жить дружно с соседями, которые были удачливыми ремесленниками, и стремились к лучшей жизни. Недалеко, тоже в Гори, жили двоюродные и троюродные братья и сестры Кеке, ремесленники, содержатели харчевен; некоторые были связаны дружбой или браком с купцами, даже с дворянами. Как и у его несчастных умерших братьев, у Сосо были богатые, хорошо известные крестные, на чью помощь семья могла, если нужно, надеяться. В семье одно время жил приемный брат, Вано Хуцишвили, моложе Сосо всего на год, ученик Бесариона. В 1939 г. в письме к Сталину Вано вспоминал их довольно счастливое детство. Даже после исчезновения Бесо его жена и сын не теряли связи с его родственниками. Сестра Бесо была замужем за Яковом Гвеселиани, который жил в Тифлисе. Дети Гвеселиани часто приезжали навещать своего двоюродного брата. И у Кеке было бесчисленное множество племянников и племянниц – семеро Мамулашвили. Вряд ли Сталин знал до двадцати лет, что такое одиночество.

Двоюродные братья и сестры, особенно Пепо (Евфимия) Гвеселиани и Вано Мамулашвили, всю жизнь переписывались со Сталиным. Их письма полны лести, просьб, воспоминаний. Они даже приезжали в Москву и два раза грозили Сталину, что покончат с собой на улице, если он их не примет в Кремле. Эти двоюродные братья и сестры Сталина составляют единственную категорию людей, не подвергшихся никаким репрессиям и арестам (некровных родственников – и Сванидзе, и Аллилуевых – Сталин истреблял так же немилосердно, как других старых большевиков). Надо сказать, что Сталин мало помогал своей кровной родне: они терпели, как все, когда голодали грузинские крестьяне и рабочий народ, но все-таки только с ними Сталин поддерживал какое-то подобие нормальных человеческих отношений. В старости он посылал им и некоторым школьным товарищам пачки с деньгами (свою зарплату депутата Верховного Совета). В 1951 г. генерал Николай Власик, комендант сталинской дачи, составил список всех кровных родственников и школьных товарищей Сталина, чтобы привезти их на автобусе в Сочи на встречу с вождем. Встреча не состоялась, но Власик не смел бы даже начать ее подготовку, если бы Сталин не проявил какого-то признака человеческой привязанности к этим людям.

Может быть, самыми значительными моментами в детстве Сталина были прикосновения смерти. Почти каждый год в детстве его постигали калечащие болезни и травмы. Всю жизнь Сталин испытывал постоянную физическую боль, которая, несомненно, увеличивала его раздражительность и садизм. Большей частью эта боль, физическая и духовная, мучила его с детских лет. Он переболел всеми детскими болезнями, от кори до скарлатины, которые унесли жизни его братьев; в 1884 г. он заболел оспой, наградившей его рябым лицом и детским прозвищем Чопура (Рябой). Потом он попал под карету, и от заражения крови у него едва не отсохла левая рука. 6 января 1890 г. ему каретой же отдавило ногу, которая не поправилась даже после операции, так что его обозвали Геза (Кривоногий). Через десять лет он просил своих тюремщиков учесть, что он калека.

Болезнь, физическая и душевная, дает нам первый ключ к психопатологии Сталина. Второй ключ – это его постоянное маниакальное собирание информации. С рождения он осознал, что бесполезно нападать на врага, если ты заранее не вооружен знанием: он изучал не только врага, но и все, что враг должен был знать. Очень рано Сталин стал самоучкой, и даже в последние месяцы своей жизни он, бессильный старик, старался собирать и обрабатывать самые мелкие и разнообразные сведения обо всем и обо всех.

По некоторым рассказам, Кеке долго пыталась отдать Сосо, семилетнего уличного хулигана, в школу. В 1886 г. семья жила на чердаке в доме, принадлежащем священнику Христофору Чарквиани. Кеке упростила его научить Сосо говорить и писать по-русски, чтобы его приняли в училище и даже дали скромную стипендию. (Тогда в государственных и церковных школах преподавание на грузинском было фактически запрещено, а знание русского было обязательным.) Через два года Сосо, тогда девятилетнего, приняли в подготовительный класс Горийского училища. Он так хорошо выучил русский, что через год его перевели на основной курс школы.

Горийское духовное училище сильно повлияло на молодого Сталина. Некоторые преподаватели, особенно грузины, были талантливыми свободомыслящими интеллигентами. Один из них, Гиорги Садзгелашвили, через тридцать лет станет католикосом вновь обретшей автокефалию Грузинской церкви; другой, Закаре Давиташвили, был своим человеком в литературных и революционных кругах. В старости Кеке написала Давиташвили благодарное письмо: «Я хорошо помню, что Вы особо выделили моего сына Сосо, и он не раз говорил, что это Вы помогли ему полюбить учение и именно благодаря Вам он хорошо знает русский язык...» (3)

Даже в детстве Сталин сочетал инстинкты бунтовщика с желанием приспособливаться: эта комбинаторика, во всех смыслах слова, будет характерна для него всю жизнь. В Гори он попал под влияние старших братьев своих товарищей, в особенности Кецховели, одного из которых уже выгнали из Тифлисской духовной семинарии за вольнодумство.

Родственные и дружеские связи сближали двенадцати- и тринадцатилетних мальчиков с преподавателями и, в свою очередь, не только с либеральной интеллигенцией, но и с купцами и чиновниками. Разница между Грузией и Россией состояла в том, что в Грузии всех образованных людей, невзирая на социальное происхождение или политические взгляды, объединяло сопротивление русской власти. Богатый капиталист давал убежище бедному школьнику просто потому, что оба были грузинами и, следовательно, жертвами империи. Пользуясь сравнением Мопассана, грузинские дворяне вели себя как лабазники, подкармливающие крыс в своих амбарах, но такие мысли этим покровителям бунтовщиков пока в голову не приходили.

Если товарищи не любили молодого Джугашвили за его угрюмый нрав, то преподаватели, напротив, жаловали его за то, что он охотно брал на себя обязанности классного старосты и усердно учился. Даже самый ненавистный учитель в школе (как всегда в Грузии, преподаватель русского языка), Владимир Лавров, прозванный «жандармом», доверял Джу-

гашвили. Неудивительно, что, когда Кеке полностью разорилась, Сосо повысили стипендию до семи рублей в месяц за «образцовую» успеваемость. Молодой Сталин в Гори занимал первое место в классе почти по всем предметам и в церкви блистал как певчий и чтец.

Закончив учение в Гори в 1894 г., Джугашвили приобрел достаточно солидное покровительство, чтобы выбрать, куда пойти дальше. В Тифлисе было два высших учебных заведения: педагогический институт, туда звал Сосо учитель пения, и духовная семинария, прием в которую ему был гарантирован. Получив высший балл по Закону Божьему, церковнославянскому, русскому, греческому и грузинскому языкам, по географии, чистописанию, церковному пению, катехизису (только по арифметике он получил оценку «очень хорошо», но не «отлично»), он был уверен в успехе. Даже независимо от желания матери или собственной религиозной веры молодой Сталин неизбежно предпочел бы бурную студенческую жизнь семинарии тихому омуту педагогического института. Семинария, несмотря на средневековую строгость, давала образование по тифлисским меркам непревзойденное. Там бок о бок с русскими монахами-мракобесами, назначенными царским наместником, преподавали грузинские либералы, которым сочувствовали почти все студенты. Споры, ссоры, иногда драки в семинарии были уже тридцать лет предметом постоянных сплетен и статей в Тифлисе. Теперь, в 1890-х гг., тяжелая рука царской власти становилась слабее, и чиновники теряли контроль над семинаристами. Студенты нового поколения так бушевали, что правительству пришлось отправить одного ректора, Корнилия (Орленкова), в монахи, а другого, Чудецкого, зарезал бывший студент. Грузинский просветитель Иакоб Гогебашвили, который сам одно время преподавал в семинарии, писал, что любой студент, русский или грузин, если он свободен от эгоизма и страха, взбунтуется против семинарского начальства (4). В 1893 г., за год до поступления Джугашвили, демонстрации и протесты студентов до такой степени напугали иерархов, что бунтовщиков исключили, а обучение на несколько месяцев прекратили.

Несмотря на враждебное отношение грузинских студентов к русским преподавателям, некоторых русских педагогов Сталин и его товарищи потом вспоминали с уважением, даже со сдержанной приязнью (5). Реакционеры часто оказывались храбрыми, решительными людьми. Инспектор отец Гермоген потом стал епископом Тобольским и членом Святейшего синода. В 1914 г. его уволили за то, что он обличал Распутина, а в 1918 г. он попытался освободить Николая II из большевистской тюрьмы.

Хотя у него в семье священников не было, Джугашвили понравился начальству до такой степени, что ему назначили стипендию. Злопамятный, суровый его нрав, так отталкивавший товарищей, казался его преподавателям признаком самоотверженного ученого. Со временем, однако, религиозность и послушность Джугашвили стушевались под влиянием радикально настроенных товарищей. Еще в 1939 г. в СССР можно было опубликовать такое свидетельство: «В первые годы учения Сосо был очень верующим, посещал все богослужения, пел в церковном хоре. Хорошо помню, что он не только выполнял религиозные обряды, но всегда и нам напоминал об их соблюдении» (6).

Так что сталинская карьера семинариста распадается на два периода. До 1896 г., когда ему исполнилось семнадцать лет, он был образцовым студентом. Он учил основательно классические и современные европейские языки; читал не только Священное Писание, но и многих русских и европейских беллетристов. Неплохо знал мировую историю. По успеваемости был пятым в классе, получал пятерки за поведение, грузинский язык, церковное пение, математику и четверки по греческому языку. В 1897 г. он взбунтовался. После прошедшей во время коронации Николая II в 1896 г. Ходынской катастрофы обострились отношения между властью и обществом. Всеобщая волна народного гнева смыла конформизм Джугашвили. Вместе с послушностью пропала вера, показатели успеваемости становятся

все хуже. Через год он уже значился двадцатым студентом в классе, провалил экзамен по Священному Писанию и должен был остаться на второй год.

В принципе семинаристы должны были ограничиваться богоугодным чтением. Жития святых и творения Отцов Церкви – вообще неплохая подготовка для человека, собирающегося читать сочинения Карла Маркса. Десять лет такого чтения превратили Сталина в страшную химеру – убежденного атеиста с глубоким знанием религиозных текстов и любовью к церковной музыке. В старости Сталин любил общаться с теми, кто в свое время учился в семинарии, – маршалом Александром Василевским, оперным певцом Максимом Михайловым. Им он замечал: «То, чему попы обучают, – это понимать, что люди думают».

Переход от веры к неверию редко бывает полным. Атеизм Сталина – это бунт против Бога, а не отказ от веры в Него. Нетрудно переходить от православия к марксизму, от церковной дисциплины к партийной. Может быть, Сталин остановился на полпути. Марксисты, как и Руссо, объявляют человека добрым по природе: все зло происходит от общественной несправедливости. А Сталин никогда не переставал смотреть на людей как на грешников, нуждающихся в покаянии и в наказании. Взяв в свои руки неограниченную власть, он ни на минуту не сомневался, что долг правителя не в том, чтобы осчастливить своих подданных, а в том, чтобы приготовить их души для лучшего потустороннего мира.

За время учебы Джугашвили начал интересоваться запрещенной литературой. К концу учебы он жил в одном доме с молодым философом Сейтом Девдариани и, как и он, имел, вопреки семинарским правилам, абонемент в библиотеку Грузинского общества по распространению грамотности. Вокруг Сейта и Сосо собирались поклонники, которые еще не перестали видеть себя будущими священниками и хотели просто расширить свое образование, читая политическую и научную литературу. Преподаватели часто обыскивали семинаристов и конфисковывали запрещенные книги, иногда наказывая виновников карцером, где те питались сухим хлебом и водой.

Для Джугашвили Сейт, который вскоре отправился в Юрьевский (ныне Тартуский) университет, оказался слишком мягким философом. Джугашвили был очарован более бойким просветителем, Ладом Кецховели, который только что вернулся в Тифлис из Киева, откуда его выгнали за чтение запрещенной литературы. Кецховели уже ведал подпольной типографией, и это был первый контакт Сталина с настоящей революционной деятельностью. Под руководством Кецховели Сталин изучал не Библию, а марксизм. К 1898 г. он проводил время не в семинарии, а среди единственной значительной пролетарской группы в Тифлисе – закавказских железнодорожников. Деньги зарабатывал репетиторством. Осенью ректор уже ставил вопрос, не исключить ли Джугашвили, которого не раз предостерегали, обыскивали и сажали в карцер. В декабре Джугашвили уговаривал железнодорожников забастовать.

В мае 1899 г. семинария объявила: «И. В. Джугашвили увольняется из семинарии за неявку на экзамены по неизвестной причине». «Неизвестной причиной» могла быть пропаганда марксизма, или невнесение платы за учебу, или (как утверждала Кеке, которая приехала, чтобы привезти его домой) появление симптомов чахотки. И еще одно обстоятельство: судя по полуграмотному письму, полученному спустя сорок лет и попавшему в личный сталинский архив, Сосо стал отцом маленькой девочки. Мы знаем о ней немного: звали ее Пашей (Прасковьей Георгиевной), она жила одно время у матери Сталина, в замужестве ее звали Михайловская, а в период террора 1938 г. она исчезла (7).

Семинария все-таки поступила великодушно: выпускные отметки Джугашвили были высокими. Его оштрафовали на семнадцать рублей за потерянные библиотечные книги – всю жизнь Сталин брал книги из чужих библиотек и не возвращал их. Наконец, с Джугашвили причиталось 630 руб. за то, что, не приняв духовного сана и не желая стать школьным преподавателем, он нарушил обязательство.

Быть грузином

В 1937 г. советским писателям заказали повести и поэмы о детстве Сталина. Некоторые решились на рискованный, хотя и заманчивый прием – писать по схеме детства Иисуса Христа. У Христа и у Сталина – отец-ремесленник, который вскоре перестает играть роль в семье, простая, немногословная мать, и в двенадцать лет всякое подобие семейной жизни внезапно обрывается. Такие подростки должны проявлять невиданную самостоятельность, они больше никогда никому не доверяют, не говоря уж о ранней умственной зрелости и категорическом неприятии чужой точки зрения. И пусть есть бесчисленные тысячи таких подростков, они не становятся мировыми тиранами. Качествами, обусловившими успех Сталина, Джугашвили к тому времени еще не обладал – во-первых, инстинктивное убеждение, что он призван властвовать, во-вторых, охотничье чутье, помогающее вовремя нанести удар по жертве, в-третьих, глубокое понимание чужой мотивации, в-четвертых, гипнотизерское мастерство в манипуляции людьми.

То, что нам известно о ранних годах Сталина, – травмы его домашней жизни, блестящие школьные отметки, искалеченное тело и сильный интеллект – это общие места в биографиях многих «великих» мужчин и женщин. Можно добавить, что предпосылкой для успеха тирана является принадлежность к этническому меньшинству или, по крайней мере, происхождение из провинции. Какую же роль сыграла грузинская национальность в формировании Сталина? Здесь мы уже имеем дело не с комплексом неполноценности провинциала или со стремлением провинциала доказать свои таланты столичному миру. Из своего грузинского наследия Сталин черпал чувство превосходства над остальными людьми, как будто такое происхождение оправдывало более жестокое и беспощадное отношение, чем те гуманные шаблоны Европы XIX века, которые так мешали другим революционерам в борьбе за новый порядок.

В Кремле этнические связи Сталина казались не сильнее, чем семейные. В 1950 г. группу грузинских историков вызвали к Сталину для беседы об их работе. Их озадачило то, как Сталин употреблял личные местоимения. Он говорил: «Они, русские, не оценивают... Вы, грузины, умалчиваете...» Если русские – это «они», а грузины – «вы», тогда какая же национальность у сталинского «я», когда же он говорил «мы»? Как многие нерусские большевики – евреи, армяне, поляки, латыши или грузины, – Сталин лишился одной национальности, не приобретя второй: может быть, национальность в социалистическом обществе вычеркнута гражданством. Тем не менее Сталин остался грузином даже в большей степени, чем Дзержинский – поляком или Троцкий – евреем. Чтобы вникнуть в его мышление, надо углубиться в его грузинское воспитание и наследие.

Жертвы и враги его, конечно, приписывали грузинской культуре его злопамятность и обидчивость при малейшем посягательстве на его личность. Младший сын Сталина Василий как-то раз, будучи нетрезв, выкрикнул: «В нашей семье мы никогда не прощаем обиды». Для русских и турок неопровержима аксиома, что кавказец не может не мстить за обиду. У Сталина есть, однако, и другие традиционные черты кавказского мужчины: вне домашнего очага проявления любого чувства, кроме гнева и возмущения, подавляются. Грузинское общение подчиняется ритуалу не менее строгому, чем ритуал китайского придворного. Такие принципы помогали Сталину вести себя перед публикой или с чужими людьми совершенно противоположно своим истинным побуждениям и чувствам. Таким же образом свободные нравы революционера только прикрывали строгое кавказское пуританство. Сталин, например, как хороший ученик, писал одобрительные замечания на полях своего экземпляра «Происхождения семьи, частной собственности и государства» Фридриха Энгельса, но дома

он настаивал, как истинный кавказский патриарх, на подчинении женщин и детей власти взрослого мужчины.

В ближайшем окружении не могли забыть, что Сталин – чужак: во-первых, он говорил по-русски с грузинским акцентом (тем сильнее, когда он произносил речь), во-вторых, водке он предпочитал красное вино. И все-таки после 1917 г. он редко говорил по-грузински, даже с Орджоникидзе и Берия, хотя он не переставал читать грузинские книги. К своему старшему сыну Якову, который до семнадцати лет ни слова по-русски не говорил, Сталин ни разу не обращался по-грузински. Единственной яркой кавказской чертой, которую он сохранил и которой гордился, было умелое приготовление мяса: и в 1930-х гг. Сталин закалывал барана собственным ножом, свеживал тушу и жарил шашлык.

После 1917 г., кроме немногих записок к матери или на полях книг, Сталин писал исключительно по-русски. В русском он допускал некоторые ошибки, типичные для грузина: он думал, что «макароны» – это существительное в единственном числе, и путал винительный и предложный падежи в таких фразах, как «положить в гроб» или «распинать на кресте». Судя по гневным или любознательным замечкам на полях книг, по спорам с грузинскими учеными и партийными секретарями, или по его покровительству восьмитомному Толковому словарю грузинского языка, он никогда не переставал интересоваться грузинским языком и историей.

Стихи, однако, Сталин писал по-грузински (хотя чужие стихи на русском он тоже иногда поправлял). Его поэтическая карьера обрывается в шестнадцать лет, но до самых последних дней он читал по-грузински, подчеркивая толстым красным или синим карандашом слова или выражения, которые ему не нравились. Он читал, как очень знающим и неумолимый корректор, правя грамматику или стиль, спрашивая по-русски, когда он уже не понимал какое-нибудь редкое грузинское слово: «Это что?» Он даже поправлял авторский перевод с греческого на грузинский. На высказывания грузинских писателей Сталин иногда реагировал бурно. Например, замечание Константина Гамсахурдия в послесловии к роману «Давид Строитель» – «Если мы воспитаны путем исторического патриотизма, мы можем сделать из любого бандита Наполеона» – Сталин откомментировал: «Глупость». Когда Гамсахурдия утверждает, что Гегель и Бальзак считали роман вершиной творчества, Сталин опять реагирует: «Ха-ха. Чепуха!»

Важнее всего то, что Сталин разделял мнение грузинских просветителей, средневековых и современных, о мессианском назначении своей родины. Одержимые мнимым величием доисторической Колхиды и величием Грузии в XII в., многие грузины до сих пор допускают, что их народ – избранный. Это убеждение глубоко проникло в сознание Сталина. Помечая карандашом на полях «Истории Грузии» Ивана Джавахишвили (он читал эту книгу в разгар войны, в 1943 г.), Сталин спрашивает с возмущением: «Зачем автор умалчивает, что Митридат и Понтийская империя были грузинским правителем и грузинским государством?» В собрании сочинений Николая Марра, феноменально начитанного шотландско-грузинского шарлатана-гения, который выдумал классовую теорию языка и на время убедил Сталина в ее пригодности, Сталин подчеркивает карандашом особенно сумасбродные мысли в статье «Абхазы и абхазология», где Марр утверждает, что русский народ происходит от «яфетических» народов Кавказа, тем самым намекая, что Грузия – старинный очаг русской культуры. Сталин никогда не сомневался, что он – представитель избранного народа.

Реальная, а не мифологическая грузинская история может быть источником настоящей политической мудрости. То, что Сталин узнал о средневековой Грузии в семинарии, подсказывало ему стратегию для захвата и применения власти и рисовало идеал абсолютного самодержавия. Грузинские Багратиды, будь то Давид Строитель в XII в. или Теймураз I в XVII в., строили ли они империи, как Давид, или теряли их, как Теймураз, были беспощадными

самодержцами, которые избавлялись от всех соперников, даже от своих соратников. (Неудивительно, что в сталинском экземпляре романа «Давид Строитель» так много пометок.) В своем стоицизме грузинские цари иногда доходили до психопатологического бесчувствия. Они ставили интересы государства гораздо выше интересов народа, даже своей же семьи. Они защищали свою идеологию, православие, самыми хитрыми приемами, даже обращаясь временно в мусульманство. И, как истинно христианские цари, с религиозной страстью больше всего ненавидели и презирали самих себя. Давид Строитель писал «Песни покаяния», а Теймураз сочинил «Страсти мученицы святой Екатерины» (о смерти собственной матери): оба царя-поэта рисуют себя погруженными в грех, губящими собственную душу, чтобы спасти царство. В этом ощущении собственной мерзости, в убеждении, что человек духовно пресмыкается в грязи, таится самое ядовитое в безбожном, но все-таки религиозном мировоззрении Сталина.

Грузия влияла на Сталина не только в историческом, но и в культурном смысле. Идеальным правителем, с точки зрения Багратидов, являлся универсальный гений, не только стратег, но и ученый, художник. Почти все Багратиды, династия, правившая без малого тысячу лет, были поэтами, а некоторые и учеными. Например, в 1570-х гг. картлийский царь Давид XI составил одно из самых полных руководств к галенически-арабской медицине; в 1780-х гг. князь Вахушти стал первым и лучшим географом страны. Одержимость Сталина литературой и писателями, наукой и учеными, его личное завистливое честолюбие в этих областях вполне соответствуют характеру таких грузинских царей, как Теймураз, который, подобно Нерону, завидовал своим соперникам и в политике, и в поэзии. После итальянского Возрождения лишь немногие диктаторы так умело, как Сталин, манипулировали подвластными им поэтами.

Те шесть стихотворений, которые Сталин написал и опубликовал по-грузински, когда ему еще не было семнадцати лет, весьма бесхитростно и беззаботно раскрывают его мысли – редкое явление в сталинской речи, устной или письменной. Психиатры, и не только последователи Фрейда, поразились бы таким избытком в них символов депрессии и болезненной мнительности, как луна и яд. Одно стихотворение заканчивается так: «Я расстегну мои одежды и открою луне грудь, / С распростертыми руками я буду обожать / Источник света, льющегося на землю!» Другое стихотворение начинается: «Когда светило, полная луна, / Плывет по небосводу» и рисует аллегория восстановленной политической веры, но завершается: «Душа моя ликует, сердце бьется ровно, спокойно; / Но разве подлинна эта надежда, Ниспосланная мне тогда?»⁴ Уединение обожателя луны превращается в недоверие и подозрение.

Еще одно стихотворение описывает презренного и отверженного скальда в лермонтовском духе:

Где бы ни звучала арфа,
Толпа подносила скальду Кубок с ядом [...],
И ему говорили: «Пей это, проклятый,
Вот твоя доля! Нам не нужно ни твоей правды,
Ни этих твоих небесных мелодий».

Неблагодарность и яд – повторяющиеся темы в любом описании сталинского обращения с соперниками и с подчиненными: больше всего он боялся предательства, даже убийства, со стороны тех, кто был больше всех ему обязан, и упреждающими ударами сокрушал,

⁴ Здесь и далее цитаты из стихотворений Джугашвили даются в переводе Д. Рейфилда.

а то и буквально отравлял тех, кто больше чем кто-либо ожидал от него благодарности и доверия. Любимые глаголы молодого поэта указывают на склонность к насилию: вешать, разить, схватить, вырвать. В лирике Джугашвили есть интересная вертикальная перспектива – сверху вниз, от «ледников луны» через «распростертые руки» в «ямы» – так он изображает метания от мании к депрессии. Неудивительно, что в зрелые годы Сталин вообще не поощрял тех подхалимов, которые пытались заказать переводы на русский его отроческой лирики, точно так же, как он запрещал портреты или скульптуры, которые показывали его рябое лицо и сухую руку, или увольнял актеров, которые имитировали его хромоту или грузинский выговор.

Сталин брал за образец не только реальных, но и фиктивных героев. Его пленили первые романисты грузинской литературы. Революционный псевдоним Коба исходит из мелодраматического романа Александра Казбеги «Отцеубийца». У Казбеги Коба – полудиккий горец, рыцарь-абрек: он воссоединяет несчастных влюбленных (девушку, ложно обвиняемую в убийстве своего отца, и ее возлюбленного), а затем, когда местные феодалы в заговоре с русскими завоевателями губят обоих, мстит за них. Коба-мститель – единственный персонаж, остающийся в живых в конце романа Казбеги. Своей удачей, тем, что он пережил и врагов, и друзей, Коба особенно понравился Сталину, и это прозвище жило дольше всех других сталинских ласкательных имен, до 1937 г., когда он умертвил Орджоникидзе, последнего друга, который был с ним на «ты».

В 1890-х гг., в семинарские каникулы, Сталин редко возвращался в Гори на лето; он проводил время под Тифлисом с другими семинаристами и общался с грузинскими студентами, только что вернувшимися из Варшавы, Харькова, Москвы, Петербурга. Каждое поколение грузинских студентов оказывалось еще более радикально настроенным. Отрочество Сталина совпало с деятельностью марксистов «месаме даси», не очень сплоченной группы, которая склонялась к идее, что власть нужно свергнуть силой, и уже отказывалась от национализма, чтобы сотрудничать со всеми угнетенными народами Российской империи. В Грузии радикальные настроения были более распространены – даже среди предпринимателей и дворянства, – чем в самой России. Борьба Грузии за самоопределение объединила всех, несмотря на раздоры между либералами и революционными социалистами. Лига свободы в Грузии охватывала и конституционных социалистов, таких как меньшевик Ноз Жордания, который станет руководителем Грузинской республики Грузии в 1917 г., и марксистов-интернационалистов, таких как Филипп Махарадзе, один из первых политических учителей Сталина. Тифлис все еще был сонным провинциальным городом, но в 1895 г. грузинская интеллигенция, рассеянная по всей России и Европе, в ссылке или в университетах, смогла сосредоточить маленькую группу марксистов именно в столице. Пролетариев все еще было мало (в городе преобладали армяне-купцы и русские чиновники), так что пропаганда марксизма была более выгодна в единственном большом промышленном закавказском городе, Баку, или в главном закавказском порту, Батуми.

Сталин как мыслитель

Всю жизнь Сталин был озабочен вопросом, существует ли Бог. Около 1926 г. он читал в русском переводе размышления Анатоля Франса «Диалоги под розой» и остановился на анекдоте о том, как встретились французские поэты Теофиль Готье и Шарль Бодлер: Готье смотрел на гротескную африканскую деревянную статуэтку, которая принадлежала Бодлеру, и размышлял: «А если Бог в самом деле похож на это?» Сталин восклицает на полях: «Ха! Вот и разбери!» Расстроенный замечанием Франса «Бог – перекресток всех человеческих противоречий», он черкнул: «Разум – чувство – неужели и это тоже?! Это ужасно!»

Потеряв веру в Бога, Сталин тем не менее сохранил кальвинистскую веру в грех, грехопадение, благодать и проклятие. Он даже, кажется, не перестал верить в любовь как верховное начало вселенной. Из разворванной сталинской библиотеки сохранился экземпляр «Братьев Карамазовых». Главы, где Сталин чаще всего подчеркивает целые абзацы карандашом, не касаются, как можно было ожидать, отцеубийства или права великого мыслителя делать то, что он хочет, раз Бога нет. Сталина заинтересовало совсем другое – философия иноков Достоевского. Он подчеркивает размышления отца Зосимы о сути «деятельной любви» к людям: «ибо любовь деятельная сравнительно с мечтательною есть дело жестокое и устрашающее» (8). Сталин смог принять утверждение Анатоля Франса, что Бог умер; считая себя сверхчеловеком, он почувствовал себя способным заменить Бога самим собой. Но его угнетала собственная смертность. Читая диалог Франса о старости, он подчеркивал заметку, что некоторые люди предпочитают ад небытию. Даже в отрочестве Сталина беспокоила старость и смерть. Его лучшее и последнее стихотворение предвосхищает одинокую немощность его собственных последних лет:

Наш Ниника состарился,
Его богатырские плечи уж не служат ему...
Как смогла эта безутешная седина сломать железную силу?
[...]
А теперь он уже не может двинуть ногой;
Подкошенный старостью,
Он лежит, или видит сны, или рассказывает
Внукам о прошлом.

В старости Сталин, конечно, мог, когда бы ни захотел, вызвать аплодисменты и благодарность толпы, которых так недостает его романтически настроенному лирическому герою, но, если он дряхлым стариком вспоминал это стихотворение, оно, должно быть, казалось горьким и пророческим (9).

Суровое православное восприятие «жестокой деятельной любви» было Сталину по душе; а протестантское толстовское христианство, которое опиралось на независимость личности, раздражало его. Сталин энергично марал книги Толстого, принадлежащие и ему, и его дочери Светлане. «Ха! ха! ха!» – писал он красным карандашом, издеваясь над следующим высказыванием Толстого: «Единственное и несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло только в том, чтоб люди признавали себя всегда виноватыми перед Богом и потому не способными ни наказывать, ни исправлять других людей».

Ошибкой, которую чаще всего допускали противники Сталина, была недооценка степени его начитанности. О ней можно судить по остаткам его библиотеки, состоявшей из двадцати тысяч книг, по выпискам или письмам, где он заказывал книги, по воспоминаниям

современников, знавших его в молодости. Практиковавшиеся в семинарии запреты на издания лишь побуждали семинаристов читать больше. В 1910 г. в Вологде, по сведениям царской охраны, Сталин посещал городскую библиотеку семнадцать раз за 107 дней. К тридцати годам Сталин уже был изрядно начитан в западной и русской классике, философии, политической теории. В годы ссылки в сибирской глуши с 1913 по 1917 г. Сталин читал все, что оказывалось под рукой или что удавалось выклянчить у других ссыльных. Даже в хаосе революции и в погоне за властью он не переставал читать. С 1920-х гг. до смерти он читал почти всю русскоязычную эмигрантскую периодику.

Заведя себе кабинет и квартиру в Кремле, не говоря уж о дачах около Москвы и на Черном море, Сталин собрал собственную библиотеку. Иногда он заказывал книги, часто присваивал себе издания из государственных библиотек, многие книги присылались в дар от издательств или авторов. Читая до пятисот страниц в день, записывая отзывы на полях, несмотря на собственные жалобы на плохую память, он мог вспоминать бесчисленные фразы и мысли даже по истечении многих лет. Сталин был феноменальным и опасным читателем. Он нередко понимал мысль автора превратно, но в то же время чутко реагировал на то, о чем автор умалчивал. С годами он стал менее терпелив. Он подчеркивал строки сначала густо, а после сотой страницы уже читал небрежно и, видимо, бросал книги, не дочитав до конца. Как бы то ни было, к Сталину можно применить английскую поговорку – чтобы добиться своего, дьявол и Священное Писание процитирует.

Осип Мандельштам утверждал, что биография писателя – это список книг, которые он прочитал. Сталина больше всего привлекали обзоры европейской истории, литературы, лингвистики. Ему особенно импонировали книги авторитарных писателей и деятелей – «Государь» Никколо Макиавелли, «Моя борьба» Адольфа Гитлера, «О войне» Карла Клаузевица, воспоминания Отто фон Бисмарка. В середине 1920-х гг., когда Сталин хранил свои книги большей частью в Кремле, Надежда Аллилуева, его вторая жена, взяла пример с Сергея Кирова, такого же библиофила, как Сталин, и попросила профессионального библиотекаря классифицировать и переставить все сталинские книги. Сталин рассердился. Он сразу составил собственный каталог и попросил своего секретаря, Александра Поскребышева, все расставить заново.

Ограничивало Сталина только незнание языков. Лишь по-грузински и по-русски он мог читать без словаря. Но и тут Сталина недооценивали его противники. В семинарии он довольно хорошо выучил древнегреческий (посетители бывали удивлены, заставая Сталина в Кремле за Платоном в подлиннике) и до некоторой степени владел также французским, немецким и английским (10). Живя в сибирской ссылке, он пытался выучить эсперанто (11). Впоследствии интерес к марксизму и первые путешествия в Берлин и Вену заставили Сталина читать немецкие журналы.

Люди писали Сталину не только по-русски и по-грузински; из Баку он получал письма на азербайджанском (тогда на этом языке писали арабской азбукой). А когда он скрывался от царских жандармов, то пользовался армянскими фамилиями вроде Захарьянц или Меликянц: надо полагать, одно время он кое-как владел и азербайджанским, и разговорным армянским. В 1926 г., во время всеобщей забастовки в Англии и в последующие годы, когда английское правительство было настроено против советской власти, Сталин перелистывал английские газеты. Когда жена забыла послать ему из Москвы в Сочи «Образцовый самоучитель английского языка» Месковского по системе Розенталя, Сталин раздраженно упрекал ее за это. Как и в других областях, Сталин предпочитал скрывать, а не показывать свои лингвистические познания.

Подробно вспоминая то, что он читал или слышал, Сталин проявлял дьявольское чутье на нестыковки и скрытые мысли, хотя его толкование авторских намерений часто бывало эксцентричным, даже превратным. Его случайные восклицания и сердитые замечания крас-

ным карандашом проливают свет на его мышление, причем именно в тот период, когда он боролся с оппозицией и с соперниками.

Некоторые книги, прочитанные молодым Сталиным, как кажется, обрисовывают его будущий курс. Не раз современники называют роман Достоевского «Бесы» как источник программы Сталина для захвата полной власти. Хорошо осведомленный грузинский романист Григол Робакидзе, написав в Германии роман «Убитая душа», утверждает, что принадлежавший библиотеке Тифлисской семинарии экземпляр «Бесов» был густо испещрен пометками Сталина. Как самый антиреволюционный роман Достоевского, «Бесы», конечно, были подходящим чтением для будущих священников в Российской империи. Фабула, согласно которой циник и двурушник Верховенский эксплуатирует самоубийцу-нигилиста и декадента-аристократа и заставляет членов своей подпольной группы сплотиться, убивая одного из них, предвосхищала тактику Сталина. И шигалевщина, теория революционного фанатика, утверждающего, что надо снести с плеч сто миллионов голов, чтобы настал период вечного счастья, была для Сталина столь же заманчива, сколь чудовищна для Достоевского.

Как и герои Достоевского, Сталин искал в философии санкции на нарушение законов человеческих и Божьих. Самым значительным его высказыванием была запись красным карандашом на шмуцтитуле издания 1939 г. книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» (трактат о том, что реальный мир существует независимо от нашего восприятия). Замечания Сталина придают макиавеллианскую окраску символу веры сатанинского антигероя Достоевского. Это – эпиграф ко всей карьере Сталина:

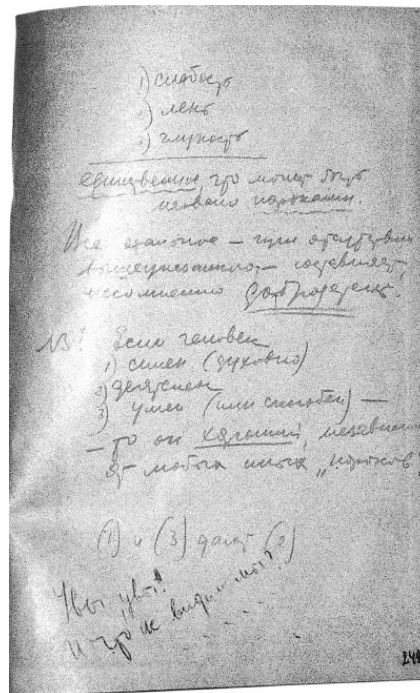
1) слабость

2) лень

3) глупость

единственное, что может быть названо пороками.

Все остальное – или отсутствие вышеуказанного – составляет несомненно добродетель!



Запись Сталина на шмуцтитуле издания 1939 г. книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»

«NB. Если человек

1) силен (духовно)

2) деятелен

3) умен (или способен) —

то он ХОРОШИЙ, независимо

от любых иных «пороков»!

(1) и (3) дают (2)

[далее – синим карандашом. —Д. Р.]

Увы, увы!

И что же видим мы?» (12)

Вполне сопоставим с таким высказыванием тот факт, что в сибирской ссылке в 1915 г. Лев Каменев (тогда своего рода научный руководитель Сталина, расстрелянный им 21 год спустя) подарил ему томик Макиавелли. Каменев всю жизнь хвалил Макиавелли: как политический теоретик, Каменев восхищался средневековым мыслителем, предвосхитившим весь беспредел европейского XX в. Сталин же, читая Макиавелли как прагматик, уважал в нем писателя, который заранее оправдал то, что он, Сталин, уже давно думает и делает. Марксизм дал Сталину и Ленину конечную цель, не говоря уже о терминологии и оправдании действий; Макиавелли описывал средства и тактику и освободил их от последних уз нравственности. Сталин, можно сказать, был марксистом лишь в том смысле, в каком Макиавелли был христианином. Для обоих главная задача правителя состояла в том, чтобы не выпустить из рук власть. Они изучили все средства, которыми власть, однажды захваченная, укрепляется. Та идеология, во имя которой власть захватили и властитель правит, остается объединяющим знаменем.

Не все, что Сталин заносил на бумагу, поддается толкованию: иногда он просто рисовал сложные узоры из треугольников и кругов. Иногда мы наталкиваемся на простые инициалы на полях книг, например Т. и У. Можно высказать догадку, что Т. — это Тифлис и семинария, те психологические прозрения, которые христианское образование дало Сталину. У. могло значить Учитель, под которым подразумевался, возможно, Ленин, может быть, и сам Сталин (13).

Посвящение в политику

Исключенный из семинарии в 1898 г., Сталин не вернулся в Гори к разочарованной матери; он прятался от полиции в деревне недалеко от Тбилиси. Осенью Вано, младший сын его друга Ладо Кецховели, помог ему найти на тифлисской метеорологической станции несложную службу, за которую он получал 20 рублей в месяц. Можно было подумать, что многообещающий мальчик теперь был обречен стать полуобразованным служащим на периферии общества.

Джугашвили спасли от прозябания в безвестности уличные беспорядки и возможность доставить беспокойство властям. В январе 1900 г. вместе с Кецховели он помог трамвайным рабочим организовать забастовку. Полиция вскоре разогнала бастующих; Вано Кецховели сбежал в Баку, а Джугашвили поймали и посадили под арест. По ходатайству матери его освободили.

В дальнейшем молодой Сталин искал поддержки у русских социалистов, которых начальство, не думая о последствиях, сослало из Петербурга в Закавказье. Так в 1900 г. и начала создаваться сталинская сеть. Первое важное его знакомство – это Михаил Калинин, ссыльный русский, который работал в железнодорожных мастерских. Как будто в благодарность Сталин потом в течение долгих лет держал Калинина на марионеточной должности главы Советского государства. Калинин вел себя всю жизнь как собака в поисках хозяина и оказался образцовым приспешником Сталина. В том же году появился и другой русский знакомый – доктор Виктор Курнатовский. Он был образованным марксистом и дружил с другими закавказскими социалистами, среди которых был Сергей Аллилуев (Курнатовский был любовником жены Аллилуева). Через Курнатовского Сталин познакомился с марксистским подпольем и со своим будущим тестем.

За какой-то год скромный служащий Джугашвили стал подпольщиком, которого разыскивала полиция. Из двадцати девяти членов Российской социал-демократической рабочей партии, значившихся в списках тифлисской жандармерии в начале 1901 г., трое – Виктор Курнатовский, Филипп Махарадзе и Иосиф Джугашвили – считались «опасными». О Джугашвили писали, что он «ведет сношения с рабочими» и «держит себя весьма осторожно, на ходу постоянно оглядывается...».

В 1901 г. Сталин вступил в период, продолжавшийся шестнадцать лет, когда он был непрерывно или в розыске, или в тюрьме, или в ссылке. Адресов было много, но ни одного домашнего; не было надежды на постоянную работу или профессию, и еще меньше – на влияние или власть. Он заезжал в Гори только тогда, когда его преследовали тифлисские жандармы. Единственными занятиями были организация демонстраций и забастовок, управление подпольной типографией.

Тогда, как и потом, Сталин испытывал симпатию к мужчинам двух типов. С одной стороны, он нуждался в таких людях, как Калинин или Курнатовский, которые самостоятельно пришли в марксизм и верили в доктрину. Из таких людей он составит свой внутренний круг. С другой стороны, его тянуло к «киллерам». В 1901 г. он подружился с первым из уголовников, чьими услугами он пользовался всю жизнь, с полугрузином-полуармянином Симоном (Камо) Тер-Петросянцем. Сталин в самом деле знал его с детства: Тер-Петросянцы и Джугашвили были соседями в Гори. Камо скоро стал самым известным закавказским бандитом: его кровавые «экспроприации» («эксы»), ограбления почтовых вагонов и почтамтов на сотни тысяч рублей доставляли большевикам средства для пропаганды и покупки оружия и отчуждали «легальных» законопослушных марксистов от их кровожадных нелегальных спутников. В 1901 г. Камо было всего 19 лет. Исключенный из школы за пропаганду атеизма,

он подал заявление в военное училище в Тифлисе, где надеялся стать специалистом по оружию и взрывчатым веществам.

В конце 1901 г. Джугашвили прятался от жандармов в Батуме. Батум был тогда вторым городом и главным портом Грузии, очагом беззакония, где турецкие и мусульманские влияния были так же сильны, как русские. Здесь грузили нефть на корабли, здесь находились заводы и фабрика Ротшильдов. К тому моменту в Батуме накопилась критическая масса недовольных пролетариев. Батум оказался для Джугашвили не местом провинциальной ссылки, а театром, где он смог удачно дебютировать. В первый раз он узнал, что это такое – пролетарий. Тот факт, что неизвестный молодой человек из Тифлиса произвел сильное впечатление в промышленном городе, где многие рабочие не понимали по-грузински, свидетельствует, что Сталин уже тогда представлял собой сильную личность. Вскоре он стал курсировать, скрываясь в товарных вагонах или у кондукторов, в Тифлис за станками, чтобы печатать брошюры. Ему в этом деле помог двадцатилетний чахоточный армянин Сурен Спандарян, редактор журнала «Нор Дар» («Новое столетие») и сын типографа. До самой смерти в 1916 г. Спандарян был одним из тех немногих, кого Сталин мог называть другом и чья смерть, хотя и на короткое время, опечалила его. Очень скоро, в начале 1902 г., жандармы забрали почти всех революционеров в Тифлисе, но в Батуме те забастовки, которые помог организовать Сталин, были победоносными. Весной этого года Джугашвили арестовали за «призыв к возбуждению и неповиновению против верховной власти» (14). Его осмотрел тюремный врач Григо Элиава (15), оставивший первое описание внешности Сталина (правда, краткое и, как оказывается, неточное): «размер роста – 2 аршина 4,5 вершка (1,64 м. — Д. Р.)... лицо длинное, смуглое, покрытое рябинками от оспы... на левой ноге второй и третий пальцы сросшиеся... на правой стороне нижней челюсти отсутствует передний коренной зуб... на левом ухе родинка».

В тюрьме Джугашвили героизма не проявлял. Осенью он умолял наместника князя Голицына: «Все усиливающийся удушливый кашель и беспомощное положение состарившейся матери моей, оставленной мужем вот уже 12 лет и видящей во мне единственную опору в жизни, — заставляет меня второй раз обратиться к Канцелярии главноначальствующего с нижайшей просьбой освобождения из-под ареста под надзор полиции...» Однако офицер тифлисской жандармерии отговаривал начальство от послаблений Джугашвили. Данная им характеристика рисует арестованного почти как человека, полезного для полиции: «В Батуме во главе организации находится состоящий под особым надзором полиции Иосиф Джугашвили... Деспотизм Джугашвили многих, наконец, возмутил, и в организации произошел раскол...» (16)

Весной 1903 г. Джугашвили подстрекал арестантов к протесту против посещения тюрьмы православным экзархом Грузинским. Его перевезли в другую тюрьму, в Кутаиси. Там его видел социал-демократ Григол Урутадзе: «Носил бороду, длинные волосы, причесанные назад. Походка вкрадчивая, маленькими шагами. Он никогда не смеялся полным открытым ртом, а улыбался только... Был совершенно невозмутим». Жандармы предложили сослать Джугашвили в Восточную Сибирь на шесть лет.

Царская бюрократия долго обсуждала дело и только зимой 1903/04 г. выслала Джугашвили вместе с двадцатью другими социал-демократами, всех в летней одежде, по Черному морю, потом по железной дороге за Урал. Их поселили в сибирской деревне в сорока километрах от железной дороги. Через два месяца Джугашвили уговорил крестьянина (которого потом высекли за это преступление) довести его до станции, откуда он вернулся на Кавказ. В Тифлисе его приютил Сурен Спандарян и еще один человек, сын инженера, Лев Каменев (Розенфельд), который станет ключевой фигурой в ленинском кругу. Несколько дней, пока он сам не сбежал на север в Петербург, Каменев помогал Джугашвили скрываться: свое рыцарство он, несомненно, проклял через тридцать лет, дожидаясь расстрельного приговора

от того, кого спас. Многие могли убедиться в черной неблагодарности Сталина, но с Каменевым он поступил, может быть, хуже, чем с кем-либо.

По возвращении Джугашвили в первый, но не в последний раз навлек на себя подозрения в сотрудничестве с охранкой. Товарищи по партии недоумевали, как это ему удалось так быстро вернуться из Сибири. Откуда взялось у него сто рублей на билет из Сибири до Кавказа? Джугашвили заявил, что он подделал удостоверение агента полиции. Но откуда в сибирских болотах он достал бланки и штампы? Он поехал дальше в Баку, но и там его отлучили от партии. Несколько раз он ездил в Тифлис. 1 мая 1904 г. его избили. Он сбежал к Гиорги Геладзе, брату матери, и два месяца не показывал носа. В августе его как будто «реабилитировали». Партии недоставало образованных активистов, а вещественных доказательств предательства не было.

Пользуясь прозвищем Коба, Сталин быстро рос в партийной иерархии, разреженной арестами товарищей. За короткое время он стал лидером закавказских социал-демократов. Когда умеренные меньшевики и бескомпромиссные большевики раскололись на II партийном съезде в 1903 г., последние почувствовали себя свободными и не стеснялись насилия. В Женеве Ленин, Крупская, Розалия Землячка и другие крайние требовали нового съезда, который одобрил бы новую программу революционной деятельности. Сталину наконец-то указали политическое направление, которое он с энтузиазмом мог навязать своим закавказским товарищам. После смерти Ладос Кецохели Джугашвили стал наиболее авторитетным и, пожалуй, харизматичным из грузинских большевиков. Время от времени он получал денежную и нравственную поддержку от русских большевиков: в сентябре 1904 г. Каменев вернулся в Тифлис, потом приехала из Швейцарии посланница Ленина, Цецилия Зелигсон; Камо Тер-Петросянц сбежал из батумской тюрьмы и присоединился к Джугашвили. В том году Сталин не переставал колесить по Закавказью. Благодаря связям с железнодорожниками ему было нетрудно ездить в закрытых товарных вагонах, не попадаясь жандармам.

Прошло уже три года с тех пор, как волна недовольства захлестнула рабочих по всей Российской империи. Как и предупреждали реакционеры, на каждую уступку царского правительства рабочие отвечали новыми, более решительными требованиями. В 1900 г. Сталин смог организовать выступление лишь одного трамвайного депо. В 1904 г., когда страна не только переживала ускоренную индустриализацию, но и готовилась к войне с Японией, Коба и его товарищи, армяне и азербайджанцы, организовали забастовку, которая парализовала добычу и переработку нефти в Баку и в первый раз в русской истории заставила владельцев заводов уступить требованиям рабочих. Но в конечном счете жандармы и охранка арестовали столько большевиков, что в Тифлисе партией на время овладели более законопослушные меньшевики.

Революционеры впервые почувствовали себя по-настоящему сильными в 1905 г., когда самодержавие, побежденное Японией, опозоренное расстрелом невооруженных рабочих перед Зимним дворцом, было вынуждено уступить общественному мнению и провозгласить конституционный строй. Смута волна за волной охватывала Россию. Летом этого года революционеры подняли бакинских рабочих, и они подожгли половину нефтяных скважин в городе. Коба был в постоянных разъездах, организовывая сходки, раздавая задания новым и старым партийным работникам. Когда дел было мало, Коба был сварлив и суров и не отрывался от книг, а в горячую пору, не щадя себя, недосыпая, не останавливаясь дольше двух дней в одном месте, он организовывал разобщенных, уговаривал несговорчивых и мирил враждующих. За его организаторский гений товарищи прощали и забывали его отталкивающие личные манеры.

В возрасте двадцати пяти лет Сталин встретил одну из тех немногих, к кому он питал сердечную привязанность. Скрываясь у своего друга Михаила Монаселидзе, он влюбился. У жены Монаселидзе было две сестры. Все трое Сванидзе были белошвейками, которые

обслуживали жен армейских и жандармских офицеров. Они жили близко от казарм, и их дом никто и не думал обыскивать. Здесь Коба чувствовал себя вне опасности и ухаживал за Като Сванидзе.

В том же году Коба впервые встретил единственного человека, которому он подчинился добровольно, – Ленина. Под псевдонимом Иванович Коба поехал как делегат от Закавказья на тайный съезд РСДРП в Тампере, где, несмотря на то что Финляндия была частью Российской империи, революционеров нельзя было арестовать за мирную встречу и дискуссию о революции. Впервые Коба оказался среди большой группы партийцев (делегатов было более сорока). Он близко познакомился с некоторыми из них – Лениным, Свердловым, Леонидом Красиным. Кобу похвалили за бескомпромиссное мировоззрение, так что, вернувшись в Закавказье в начале 1906 г., он с полным на то правом объявил себя «закавказским Лениным». Впервые его власть стала легитимной. Как и побег из Сибири, его путешествие в Финляндию, не омраченное жандармскими досмотрами, навело некоторых товарищей на мысль, а не шпик ли Коба.

Первое убийство, в котором принимал участие Сталин, было совершено 16 января 1906 г. Партия «приговорила» к смерти и убила генерала Грязнова, который за месяц до этого в Тифлисе разгромил баррикады, воздвигнутые бунтующими рабочими. Когда полиция искала его, Коба лежал в постели с забинтованной головой (упал с трамвайной подножки). Тот факт, что его фамилии нет в списке арестованных, хотя он утверждал, что сидел в метехской тюрьме в апреле 1906 г., дает лишний повод допустить, что у Джугашвили был какой-то таинственный договор с полицией. Летом Коба опять поехал на север, в этот раз как «Виссарионович» в Стокгольм на IV съезд РСДРП, а подозрительно хорошо осведомленные тифлиские жандармы разгромили подпольную типографию социалистов.

Стокгольм собрал еще больше делегатов, чем Тампере. Здесь Сталин увидел как новых для себя лиц, например предтечу русских марксистов Георгия Плеханова, так и старого знакомого Михаила Калинина. Он впервые встретил двух человек, без которых впоследствии не смог бы завоевать абсолютную власть: Феликса Дзержинского, будущего главного чекиста, и Клима Ворошилова, будущего военного наркома, а позднее палача Красной армии. В Стокгольме Коба остановился в одном номере с Ворошиловым (что, по легенде сталиноведе-ния, уберегло этого человека от ареста и казни в эпоху сталинщины). Здесь же Джугашвили впервые увидел некоторых из тех, кого он лишит жизни, как только ему покажется, что они мешают его единовластию: Андрея Бубнова, Александра Смирнова, Алексея Рыкова. В Швеции Сталин на короткое время уподобился буржуа: приобрел костюм, галстук, шляпу и трубку (трубка – единственный «буржуйский» аксессуар, который он использовал до конца жизни).

Вернувшись в Тбилиси, он опять поступил как буржуа: узнав, что Като Сванидзе беременна, пригласил священника, не побоявшегося обвенчать человека в розыске, и женился на ней. Супружеская жизнь была несладкой и недолгой. Коба сбежал в Баку, Като арестовали за то, что она приютила революционеров. Ее сестра Александра Монаселидзе-Сванидзе шесть недель ходила по знакомым жандармам, пока не наткнулась на жену полковника, которую обшивала. Полковник сначала пускал Кобу (будто бы ее кузена) в женскую тюрьму к жене, потом освободил ее, а заодно спас ее настоящего кузена от петли палача.

Теперь Сталин опять стал писателем: писал прозу, короткие трактаты по-грузински о социализме и анархизме, которые печатались в газетах «Ахали Дроеба» («Новое время») и «Чвени Цховреба» («Наша жизнь»). Рождение сына Якова 18 марта 1907 г. не отвлекло его от этих дел. Через месяц Коба, как единственный не арестованный закавказский делегат от большевиков, поехал в Копенгаген. Датское правительство уступило требованиям российского правительства и выгнало делегатов, которые сразу переехали в Лондон. Коба, кажется, поехал в Лондон через Берлин, чтобы посетить Ленина и согласовать с ним ограбление

в Тифлисе. И Камо Тер-Петросянц, несмотря на официальную мирную политику партии, доставил деньги для борьбы.

Коба вернулся в Грузию через Париж; у него был паспорт на имя одного покойного грузина. В Тифлисе он помог Камо 13 июня 1907 г. ограбить почту (через школьного товарища, служившего на почтамте, узнал, когда привезут банкноты). Грабеж пополнил партийную кассу на четверть миллиона рублей (правда, номера купюр сразу же были сообщены российской полицией коллегам в европейских странах); от бомбы Камо погибло и было ранено около пятидесяти человек из публики. Меньшевики исключили Кобу из Закавказской социал-демократической партии за терроризм.

Вместе с женой и малышом Коба уехал в Баку, где среди нефтяников было еще много большевиков. К Кобе примкнул новый союзник (а в конце концов жертва) – Серго Орджоникидзе. Свой авторитет Сталин основывал на неофициальном мандате Ленина, к которому он в следующем году, вероятно, ездил еще дважды – сначала в Штутгарт, потом в Швейцарию.

Вскоре Коба освободился от семейных уз. 22 ноября 1907 г. Като умерла, видимо от тифа и чахотки. Коба передал сына своей невестке и следующие четырнадцать лет о ребенке даже не справлялся. В марте следующего года бакинские жандармы наконец арестовали всех большевиков, включая Джугашвили, скрывавшегося под именем Кайоз Нижерадзе. Безалаберность, а может быть, и подкуп привели к тому, что жандармы не опознали в Кобе большевика в розыске и беглеца из Сибири Джугашвили. К тому же времена настали мягкие. Царь и Государственная дума объявили амнистию всем политическим заключенным. Коба говорил, что и 1904 и 1905 гг. он провел за рубежом и поэтому подлежал амнистии. Даже когда стало очевидно, что он лжет, с ним поступили мягко: сослали на три года в Вологду.



Сталин с матерью и семьей Сванидзе у гроба жены

Почему российские власти так снисходительно обращались с теми, кто пытался свергнуть режим убийствами, грабежом, саботажем и забастовками? В 1908 г. во Франции Кобу и Камо ожидала бы гильотина, в Великобритании – виселица, в Америке – электрический стул. Правда, революционеров в России часто судили военные трибуналы, которые выносили приговоры, не дослушав показаний, и вешали приговоренных, но это происходило на западе, в Одессе, в Вильне, в Киеве, где управляли генерал-губернаторы и где революционеры часто были поляками или евреями. Петр Столыпин, самый деятельный из русских премьер-министров, несмотря на прагматизм и либерализм, так охотно вешал врагов государства, что в обиход вошло выражение «стольпинский галстук».

Как бы то ни было, Сталин и его товарищи – Свердлов, Калинин, Каменев – провели в тюрьме, дожидаясь амнистии, всего несколько месяцев. В тюрьме с ними, выпускниками

гимназий или семинарий, смотрители обращались как с дворянами, разрешали посещения, хорошее питание, лечение. Когда их ссылали в Сибирь, им выдавали содержание, которого хватало на отопление, питание, даже прислугу и корову. Там они жили среди дружелюбного населения, даже сибирские жандармы, которые их стерегли, хорошо относились к ним, а если им надоедала одна и та же компания или нескончаемая сибирская зима, легко было бежать. В Британии, Швейцарии, Франции или Америке их принимали с состраданием. Никто на Западе не верил, что революционер-интеллигент из России может быть опасен. Наоборот, их присутствие предоставляло рычаг давления на Россию в том случае, если она начнет угрожать колониальным интересам Великобритании или Франции на Дальнем Востоке.

Терпимость была одной из слабостей Российской империи в 1910-х гг. Второй слабостью была двойственность политической системы. С одной стороны, царь поступал так, как будто, несмотря на конституцию, он остался абсолютным монархом: под влиянием жены он увольнял именно тех министров, которые своим талантом ставили под сомнение его авторитет. С другой стороны, первые две Думы провозглашали радикальные реформы. Каждая новая Дума, опирающаяся на еще более узкий круг избирателей, становилась более консервативной, но, несмотря на присутствие ярких монархистов, либералы и социалисты продолжали настаивать на гражданских правах и экономических реформах. В каком-то параличе между требованиями царя и Думы пребывали министры. Российское государство на время спасла группа мудрых, энергичных, даже самоотверженных министров – Сергей Витте, сделавший русский рубль одной из самых крепких валют в Европе, Петр Столыпин, за пять лет окончательно освободивший крестьянство, Петр Святополк-Мирский, провозгласивший либеральную весну 1904 г. и фактически уничтоживший цензуру. Но консерватизм царя и безответственность Думы свели их достижения на нет.

Иностранцев наблюдателей обманывал экономический бум, который начался в 1908 г. Они недооценивали слабость политической структуры России и пренебрегали опасностью революционно настроенных левых. Даже Министерство внутренних дел и жандармы смотрели снисходительно на своих хорошо образованных противников. Вообще отношение русской публики к преступникам, особенно политическим, было христианское. Когда анархиста Гиашвили, бросившего бомбу в чиновника, приговорили к смерти через повешение, в Тифлисе не смогли найти палача для исполнения приговора, так что пришлось его помиловать – похвальное дело для христианского общества или гуманистической культуры, но катастрофическая ошибка для государства, в котором ожесточенные фанатики нащупывали всё новые и новые слабые места.

Тот факт, что фанатики раскололись на отдельные группы и поэтому казались неспособными на серьезное восстание, успокаивал общественное мнение. Больше всех тревожили публику социалисты-революционеры, которых какой-то туманный мистицизм вдохновлял на драматичные покушения, а большевики, которые лишь время от времени и довольно избирательно прибегали к кровавым акциям, казались заложниками непонятной немецкой политической философии. Поэтому их недооценивали, забывая, как всего несколько лет назад, в 1905 г., их рабочие и солдатские Советы чуть не свергли царское правительство.

Российское государство было подорвано коррупцией, которой было заражено все чиновничество, разве что кроме самих министров. Взяточничество и проникновение провокаторов ослабили жандармерию, хотя жандармы составляли довольно эффективную и добросовестную силу.

И все-таки в 1908 г. громко звучали пророческие голоса, предсказывающие гибель России. Некоторые издатели газет, философы, богословы и поэты чувствовали, что апокалипсис России возникнет из мировой войны, в которую союз с Великобританией, Францией и Сербией, не говоря уж о близорукости царской семьи, втянет страну. Настоящего конфликта с Германией или с Австро-Венгрией на самом деле не было; никакого господства над океа-

нами России было не нужно, и у нее не было колоний, которые нуждались в защите. Стремление к войне 1914 г. – это бессмысленное стремление гадаринских свиней (Лк. 8, 26–39).

Большевики боролись с государством не потому, что оно угнетало народ, а потому, что было слабо. Россия в 1908 г. делала для своих граждан не меньше, чем западные государства – для своих. Суд присяжных, равенство перед законом, просвещенное отношение к этническим меньшинствам, религиозная терпимость, дешевые кредиты для крестьян, хорошие железные дороги и почта, свободная пресса, цветущие университеты с незаурядными учеными, врачами, всеобщее (хотя бедное) начальное образование, медицинское обслуживание, да еще и самый мощный взрыв художественного творчества в Европе после итальянского Возрождения – все эти плюсы в глазах многих наблюдателей перевешивали минусы: глубоко укорененный алкоголизм, эпидемический сифилис, лень, взяточничество, бездорожье, грубость бюрократии, всеобщую бедность. Многим казалось, что экономический и культурный прогресс уже спасает Россию от ее зол.

У партии Ленина был один неглупый лозунг: «Чем хуже, тем лучше». Революционеры активно поощряли (уже тем, что их не убивали) жестоких генерал-губернаторов, глупых жандармских полковников, жадных владельцев фабрик и заводов, зная, что такие люди способствуют появлению разгневанного пролетариата, который пойдет за социал-демократами.

Когда Сталин сидел в тюрьме или в ссылке, его не изолировали, не лишали ничего. Он мог учиться дальше, встречаться с революционерами со всех краев России. По выходе из этого кокона он стал еще более деятелен и опасен.

Тюрьмы и ссылки

...В лесу раздался ружейный выстрел. Им был убит Диамбег и ранен стоявший рядом Гиоргол, который слышал голос: «Я – Коба! Мой друг Яго отмищен!»

Александр Казбеги. Отцеубийца⁵

В камере № 3 Байловской тюрьмы в Баку, где Коба сидел в ожидании ссылки, его навещали мать и девушка-соседка из Гори. Больше, чем посетительниц, он ценил своих товарищей. С двумя из них его связали особенно прочные узы. Это были Серго Орджоникидзе, закавказский бандит и партийный организатор, и меньшевик Андрей Вышинский, хорошо образованный юрист из Киева. Орджоникидзе был эмоциональным, хотя при этом жестоким человеком, и впоследствии был верен Сталину. В Вышинском Сталин найдет самого расчетливого и циничного из всех своих союзников: в годы террора он будет фабриковать риторiku и видимость законности, с тем чтобы отправлять сотни тысяч, включая тех, кто его обучал и защищал, на расстрел или в ГУЛАГ. Даже в тюрьме Вышинский свил себе теплое гнездо – он был назначен старостой политических заключенных и прикреплен к кухне.

После двух неудачных попыток сбежать Коба сдался и к весне 1909 г., несмотря на эпидемию тифа, задержавшего перемещение арестантов, находился в ссылке в Сольвычегодске, в двадцати пяти километрах санного пути от конечной станции железной дороги в Котласе. Там он задержался ненадолго; как говорили ссыльные, убегали все, кому не лень. Коба уехал сначала в Петербург, где будущий тесть, Сергей Аллилуев, нашел ему приют у дворника (как во Франции, так и в России дворники/консьержи в качестве доверенных помощников полиции не подлежали обыску и потому могли дать беглым преступникам надежное убежище).

Летом Коба уже находился в Баку и печатал листовки. Он не виделся ни с матерью, ни с сыном, но в его жизни появилась еще одна женщина, Стефания Петровская, которая покинула родной дом в Одессе после того, как ее овдовевший отец женился снова, сошлась с одним политическим ссыльным в Сольвычегодске, влюбилась в Кобу и уехала в Баку, чтобы жить с ним.

В марте 1910 г. Коба впервые приговорил члена партии к смерти. Группа типографов отказалась работать на подпольных печатных станках. Коба объявил, что в партию вкрались предатели, и требовал, чтобы одного из них, Николая Леонтьева, вызвали на собрание и убили. Леонтьев, однако, требовал, чтоб его судили, прежде чем казнить. Кровожадные партийцы остыли, и Леонтьев остался в живых.

Через короткое время Кобу снова арестовали. На допросе Коба отрицал все и опять потребовал амнистии. Он даже отрицал, что живет со Стефанией Петровской, которая уже призналась, что она – его гражданская жена. Жандармерия в Кутаисе, Тифлисе и Баку так долго разбирала показания и улики, доказывающие, что Коба в самом деле занимался антигосударственной деятельностью, что от пожизненной сибирской ссылки он был избавлен. (Наверное, был и подкуп, так как по крайней мере один бакинский жандарм, майор Зайцев, получал деньги от местных большевиков.) К тому же Коба взял у чахоточного соседа образчик мокроты, дал взятку тюремному врачу и просил у тюремного начальства разрешения на брак с Петровской. В итоге он получил очень мягкий приговор – пятилетний запрет на пребывание в Закавказье и перевод его, как «лица, вредного для общественного спокойствия», в Вологодскую губернию. Согласие на брак было выдано слишком поздно, в тот день, когда Кобу уже отправляли на север. Коба опять очутился в Сольвычегодске без знакомых, хотя

⁵ Перевод Д. Рейфилда.

пока ему не известный, но в будущем самый верный соратник Вячеслав Скрябин (Молотов) только что уехал оттуда в Вологду. Через несколько месяцев Коба сам переехал в Вологду, и там-то они встретились.

К 1910 г. Коба уже показал себя: он мог грабить, убивать, прошел через допросы, тюрьму, ссылку. Партия теперь считала его достаточно ценным товарищем, чтобы всячески опекать и беречь. Его избрали членом Центрального комитета, единственным, кто на тот момент находился в России, а не за границей. Коба начал переписку с Лениным: он обращал внимание товарищей на мнение рядовых партийцев, работающих в России, которые, хотя и предпочитали ленинскую тактику законопослушным идеям Льва Троцкого, все-таки не уважали партийное руководство, сидящее в парижских кафе и цюрихских библиотеках: «Пусть, мол, лезут на стенку сколько их душе угодно, а по-нашему, кому дороги интересы движения, тот работает, остальное приложится» (17).

Два раза в день к Кобе заходили жандармы. В Сольвычегодске его единственным утешением была квартирная хозяйка, Матрена Кузакова, которая к концу 1911 г. родила, возможно от Кобы, сына Константина. 6 июля 1911 г. Кобе разрешили переехать в Вологду под полицейский надзор: там он мог посещать общественную библиотеку, театр, читать газету с левым уклоном, переписываться с корреспондентами в России и за границей. Повторилась история с гражданским браком. В Вологде Коба познакомился с другим ссыльным, Петром Чижиковым. Во время своей ссылки в северном захолустном городе Тотьма Чижиков был помолвлен с гимназисткой Пелагеей (Полиной) Георгиевной Онуфриевой. В Вологде Чижиков был очень занят, а Онуфриева скучала, пока не сошлась с Кобой.

В разговорах с Онуфриевой Коба-вдовец часто упоминал свою жену: «Вы не представляете себе, какие красивые платья она шила!»

Он дарил ей книги с надписями вроде «Умной скверной Полине от чудака Иосифа» и писал умильные открытки: «Целую Вас ответно, да не просто целую, а горячо (просто целовать не стоит). Иосиф». Но у него появлялся и менторский тон: он объяснял ей, сколь важна в творчестве Шекспира «Буря». Этого можно было ожидать от Калибана, претендующего на место Просперо. Он описывал Полине картины Лувра. Уезжая тайком в Петербург, Иосиф взял с собой паспорт Чижикова, жениха Онуфриевой. Расставаясь, они обменялись подарками: она ему подарила нательный крест, он ей – картинки с полуобнаженными нимфами и целующимися парами (18).

Охранка сосредоточила внимание на Кобе: его решили пока не арестовывать, а просто следить за ним, чтобы узнать, где прячутся другие большевики. В октябре 1911 г. он выехал из Вологды – на этот раз, как ему казалось, навсегда. Кобу пустили в Петербург, где Орджоникидзе передал ему письмо от Ленина. За ним следили и при аресте так хорошо допросили, что он во многом признался, даже выдал настоящий год рождения. Но и тут охранка оплошала: записи на грузинском и немецком в записных книжках Кобы не были переведены. Отпуская его в Вологду с бесплатным билетом, ему разрешили жить в любой части государства, кроме Москвы и Петербурга. Находившееся в распоряжении охранки описание внешности Джугашвили было столь небрежным (без упоминания даже его оспин и высохшей руки), что повторный арест становился непростым делом.

Проявления такой мягкости в Баку или Тифлисе наводят на мысль о коррупции. Вообще решения об административном наказании революционеров принимались на самом высоком уровне – министром внутренних дел, иногда даже самим царем, но на основе докладов нижестоящих чинов. У этих служащих охранки и жандармерии, как и у тюремщиков, были разработанные тарифы взяток: брали от 50 руб. за сокрытие настоящей личности до 800 руб. за перемену места ссылки с Сибири на европейскую Россию. В Петербурге, однако, мягкость была частью обдуманной тактики: охранка перевербовывала человека в своего

агента или хотела, чтобы другие революционеры думали, будто их товарищ стал агентом полиции.

У петербургских чиновников была еще более хитрая тактика. Например, известный Сергей Зубатов, глава особого отделения Департамента полиции в Москве, вводил своих агентов в ряды социал-демократов и эсеров. Было невыгодно просто подкупать или шантажировать революционеров, чтобы они стали агентами: даже хорошего шпиика можно разоблачить, как разоблачили Романа Малиновского, будущего члена ЦК большевиков и лидера социал-демократов в Думе. Надо было вырабатывать более изощренный подход, например, поощрять и финансировать крайних и склонных к расколу революционеров, чтобы они создавали из объединенного левого фронта бесконечное число мелких беспомощных враждующих фракций.

Если Коба действительно сотрудничал с охранкой, можно приписать это сотрудничество не предательству, а признанию им того факта, что Министерство внутренних дел и социал-демократическое движение связывали, пусть временно, общие интересы. Некоторые громкие убийства, например грузинского христианского либерала и писателя Ильи Чавчавадзе в 1907 г. или премьер-министра Петра Столыпина в 1911 г., весьма вероятно, были совместными подвигами крайне правых в Министерстве внутренних дел и крайне левых среди революционеров, объединившихся против тех либералов, которые мешали обеим сторонам. Конечно, социал-демократов продолжали арестовывать и ссылать, но большей частью в тех случаях, когда они не подходили полиции ни как шпики, ни как союзники.

Коба жил в Вологде до февраля 1912 г.; за это время он укрепил перепиской свою дружбу с Вячеславом Молотовым. Он не казал носа из дому и зубрил немецкие глаголы. В Прагу на съезд партии он не поехал, но направил туда письмо, которое, по отзыву Крупской, показывало, что он «страшно оторван от всего, точно с неба свалился». В феврале он уехал в Москву, и о каждом его перемещении докладывали в полицию разные агенты, среди них Роман Малиновский, которого Коба тогда считал закадычным другом. В Петербурге Коба узнал, что на Пражской конференции он избран членом ЦК: вместе с Еленой Стасовой. С Орджоникидзе и Малиновским он входил в Русское бюро, которому предстояло исполнять решения партии, принятые за границей.

Весной 1912 г. в Петербурге Коба помогал организовать публикацию легальной партийной газеты «Правда». В мае Молотова назначили редактором, так что даже в отсутствие Сталина газета оставалась верной сталинской линии.

Власти раньше Сталина узнали о создании Русского бюро и быстро арестовали всех членов ЦК, оказавшихся на российской территории, кроме своего шпиона Малиновского и – вероятно, для правдоподобия – еще одного человека, Григория Петровского (19). Большевистская фракция стала партией в изгнании. На сей раз полиция работала профессионально: Кобу хорошо описали и составили досье в тысячу страниц (одних только обвинений было на шестьдесят страниц) (20). Приговор, однако, суровым не был. Кобу сослали в Нарым, в деревню на Оби, населенную несколькими сотнями жителей, к северу от Томска. Эрнест Озолинын, латышский социалист (21), ехал со Сталиным и другими арестантами. Никаких удобств в путешествии не было. По свидетельству Озолинына, Сталин выделялся ироническим издевательством, чувством собственного превосходства, агрессивностью, самоуверенностью. В сентябре 1912 г., протомившись целое лето в Нарыме, Коба уплыл оттуда на пароходе и недалеко от Томска нашел железнодорожника, который согласился его посадить на поезд, шедший в Центральную Россию.

Прошло целых два месяца, прежде чем жандармы внесли Сталина в список разыскиваемых. К тому времени Коба уже помогал большевикам организовывать предвыборную кампанию в IV Думу. Летом он поехал на Кавказ, где, возможно, помог Камо в организации нападения на почтовую карету. Осенью Коба вернулся в Петербург и своей помощью в пред-

выборной кампании сделал все, что нужно было охранке: шпиона Малиновского избрали членом Думы, где он защищал интересы и большевиков, и тайной полиции. Малиновский донес охранке о приезде Кобы, но оба беспрепятственно уехали в Краков (тогда в Австро-Венгрии) для встречи с Лениным. В Кракове Коба познакомился еще с одним ключевым деятелем – Григорием Зиновьевым, сыном молочника, уже десять лет изучавшим и преподававшим социалистические доктрины в Швейцарии.

Как только Малиновский и Коба пересекли австрийскую границу (к открытию Думы в Петербурге они опоздали), Ленин и Крупская заподозрили неладное и затребовали Кобу назад: «Как можно скорее гоните [его] вон, иначе не спасем, а он нужен и самое главное уже сделал». Но Сталин был уже в Петербурге, и паниковать было незачем. Малиновский выступал в Думе от имени большевиков так вяло и так уступчиво, что многие товарищи уже догадывались, что он агент полиции.

На Рождество Дума прервала заседания, и Коба опять уехал в Краков, на этот раз через Финляндию и Германию. В следующий раз он окажется за границей лишь спустя тридцать лет и в совсем другом качестве – в 1943 г. в Тегеране. Он жил на съемных квартирах в Кракове и Вене. Своей энергией он понравился Ленину: «У нас один чудесный грузин засел и пишет для “Просвещения” большую статью, собрав все австрийские и прочие материалы». Это был первый большой трактат Сталина, «Марксизм и национальный вопрос». Работа закрепила за Кобой статус марксиста-теоретика, что выразилось затем в назначении его наркомом по делам национальностей в первом советском правительстве. Он познакомился с еще двумя из своих будущих жертв – Львом Троцким и Николаем Бухариным.

Итак, к 1913 г. Сталин произвел впечатление, хорошее или плохое, почти на всех, кто будет участвовать в Октябрьской революции. Важнее всего было то, что, как и Дзержинский, он добился доверия Ленина (хотя тому трудно было запомнить фамилию Джугашвили). В Кобе, как в Дзержинском, Ленин увидел товарища, который мог и хотел сделать все что угодно для партии и который, в отличие от Троцкого, Зиновьева, Каменева и Бухарина, никогда не оспаривал политику, тактику или нравственные принципы Ленина и всегда уступал более образованным товарищам. Тайна сталинского обаяния постепенно раскрывалась его поклонникам: чем ближе они знакомились с ним, тем больше они восхищались этим сочетанием напористой деятельности и хорошо скрываемого интеллекта. Он всех поражал своей варварской грубостью, якобы незнанием языков, но очень скоро товарищей ошеломяла его осведомленность, сила характера и способность быстро осваиваться в новой среде.

Пройдет еще десять лет, прежде чем Сталин, уже в качестве генерального секретаря, будет в состоянии сам решать не только кому льстить, за кем ухаживать, но и кого назначить, кого уволить. Но за четыре года до революции он уже встретил большую часть тех, кто сыграет решающую роль в его захвате власти, – кому-то он будет подражать, кому-то покровительствовать, кого-то погубит. Из тех, кто станет ему всего нужнее, в 1900 г. он познакомился с Михаилом Калининым и в 1905 г. – с Емельяном Ярославским, своим самым плодовитым пропагандистом. В 1906 г. он встретил Дзержинского, который обеспечит ему поддержку ОГПУ, и Клима Ворошилова, который подчинит армию сталинской воле и потом будет руководить массовым уничтожением офицерского состава. В 1907 г. Сталин приобрел верного соратника в лице Серго Орджоникидзе, а в 1908 г. свел знакомство с циничным юристом Вышинским. В 1910 г. Сталин покориł Вячеслава Молотова, отличавшегося собачьей преданностью. Единственным человеком, близким к Сталину во время революции, с которым он в подполье еще не столкнулся, был Лазарь Каганович.

К 1913 г. Сталин уже недолюбливал партийных теоретиков, соперников, которых он будет истреблять. В 1904 г. он встретил Каменева, в 1906-м – Рыкова, в 1912-м – Троцкого и Зиновьева, в 1913-м – Бухарина. Через двадцать лет они дорого заплатят за то, что так высокомерно смотрели на Кобу.

Троцкому Сталин не понравился с первого взгляда: «Дверь внезапно распахнулась, без предупредительного стука на пороге появилась незнакомая мне фигура невысокого роста со смуглым отливом лица, на котором ясно видны были следы оспы». Коба, не поздоровавшись, налил себя чаю и молча вышел. Бухарин, который каждый день посещал ту квартиру в Вене, где жил Коба, испытывал к нему сложную смесь чувств – восхищение, привязанность, страх, доходящий до ужаса. Судя по письму (перлюстрированному охранкой) к некоей подруге, в буржуазной роскоши Вены Коба чувствовал себя не в своей тарелке. Несмотря на одобрение Ленина, русские интеллигенты в ссылке раздражали его. «Не с кем по душам поболтать». Встреча с тремя ближайшими соратниками Ленина – с Троцким, Зиновьевым и Бухариным – ударила по его самолюбию, и эту обиду он лелеял двадцать с лишним лет, пока не убил всех троих.

1913 г., год трехсотлетия династии Романовых, принес Кобе только позор и уныние. Для него наступил четырехлетний период безнадёжного безделья. Все началось с того, что жандармский начальник Владимир Джунковский разоблачил Малиновского как агента охранки. Джунковский поступил так, может быть, не столько из высоких соображений (он, надо сказать, отказывался принимать доносы от учителей, священников или других непрофессионалов), сколько для нанесения точечного удара по левым депутатам, с тем чтобы их полностью деморализовать. Ленину трудно было поверить в предательство. Теперь большевики, казалось, превратились в нелепую горсточку обманутых интеллигентов, а их ЦК – в труппу марионеток в жандармском балагане. Хуже того, почти всех активистов-большевиков в России полиция сразу арестовала. Вообще же романовское торжество, экономический бум и новые либеральные законы приглушили недовольство пролетариата, что положило конец популярности большевиков.

Наконец, по мере того как Европа незаметно для себя приближалась к мировой войне, и в Германии, и в России социал-демократы становились партией уже не интернационалистов, а патриотов. Для них родина стала важнее, чем социализм. Революция была отложена на неопределенное время.

Еще до разоблачения Коба намекал Ленину, что Малиновский вставлял палки в колеса. В письме к заграничным большевикам Коба жаловался на «вакханалию» арестов. А в феврале вслед за Яковом Свердловым (первым главой будущего Советского государства) он был и сам арестован. Теперь его упекли на четыре года в самую глушь Сибири, в Туруханск, находящийся на пересечении Енисея и полярного круга. Оттуда Кобу отправили еще дальше, в маленькое поселение Мироедиха.

Партия предлагала Кобе деньги для побега, но отчаявшийся революционер даже не думал бежать. Правда, в то же время он начал подписываться «К. [Коба] Сталин» и вести себя соответственно новому псевдониму (22). В Мироедихе его возненавидели. До него там жил ссыльный Иосиф Дубровинский, который утонул в Енисее. Сталин вопреки революционному этикету присвоил себе библиотеку Дубровинского. Его перевели на 150 километров южнее, в деревню Костино, а потом на север в поселок Монастырское. Он скучал и тосковал больше, чем когда-либо в своей жизни. Он писал Зиновьеву, умоляя его прислать книги. Как ни странно, он писал и Малиновскому, как будто ничего не произошло, просил шестьдесят рублей, жалуясь на безденежье, на зловещий кашель и на то, что в Монастырском нет хлеба, мяса, керосина; единственной дармовой едой была енисейская рыба. В конце сентября, когда уже стало холодно, Сталин переехал в новое место неподалеку и жил там в одной избе со Свердловым. Туда наконец прислали деньги, но они предназначались для побега Свердлова. Жандармы перехватили письмо и вычли эту сумму из скудного содержания Свердлова и Сталина. Вскоре оба были сосланы еще дальше на север, в Курейку (там жило 67 человек в девяти домах). Оттуда Сталин снова умолял Малиновского выслать деньги.

Свердлову со Сталиным жить было солоно. Он писал жене: «Со своим товарищем мы не сошлись “характером” и почти не видимся, не ходим друг к другу... Товарищ, с которым мы были там, оказался в личном отношении таким, что мы не разговаривали и не виделись...» Тем историкам, которым внезапная смерть

Свердлова в 1919 г. кажется подозрительной, эти письма кое о чем говорят. Дело в том, что к Пасхе 1914 г. Сталин переселился в дом Перепрыгиных, где жило семь сирот. И надзиравшего за ссыльными жандарма Лалетина, и революционера Свердлова шокировало его дальнейшее поведение: он соблазнил тринадцатилетнюю Лидию Перепрыгину. У большевиков были либеральные стандарты морали, но сожителство с девочкой навевало ассоциации с крепостничеством, с помещичьими нравами. Лалетин захватил Кобу с поличным, и ему пришлось отбиваться саблём от взбешенного любовника. Дело пошло на лад, когда Сталин обещал жениться на Перепрыгиной по достижении ею совершеннолетия. По настоянию Сталина туруханский полицмейстер Иван Кибиров (осетин по происхождению) заменил Лалетина более уступчивым жандармом, Мерзляковым (23). Лидия все-таки забеременела дважды: первый ребенок умер, а второй, Александр, родился в 1917 г. Скрывая или, может быть, вовсе не зная фамилию отца, он дослужился до звания майора Красной армии (24).

Сожительство с несовершеннолетней доставило Сталину мало радости. Он много читал, учил языки. Писем почти не писал – разве что Зиновьеву, заказывая английские газеты, или Аллилуевым, надписывая открытки с приятным ландшафтом. Весной 1915 г. он поехал за двести километров вверх по еще не вскрывшейся реке в Монастырское, куда перевезли его друга, Сурена Спандаряна, страдавшего туберкулезом. С открытием водного пути в Монастырском появились еще пятеро ссыльных депутатов-большевиков, среди них знакомый Сталина по Тифлису Лев Каменев. Сталин мало участвовал в их дискуссиях, хотя было что обсудить, так как катастрофические поражения российской армии в Первой мировой войне вновь зажгли надежду в сердцах революционеров. Про этих разобщенных радикалов, из-за войны оторванных от своих вождей, которые прятались в Швейцарии, Коба писал: «[Они] немножечко похожи на мокрых куриц. Ну и “орлы”!» (25)

Компания скоро распалась: экс-депутатам и Каменеву разрешили поехать на юг в город Енисейск. Остальные ссыльные потеряли свою солидарность и начали обвинять друг друга в разных проступках: Свердлов обучал жандарма немецкому языку, Спандарян помог ограбить местный склад сахара. В результате Сталин проголосовал за бойкотирование Свердлова. После случившейся потасовки у Спандаряна началось сильное кровотечение, и через месяц он умер – как раз тогда, когда ему вышло помилование по состоянию здоровья. В последние месяцы ссылки Сталина почти никто не видел; вероятно, он сбежал сначала в Курейку, откуда его выпроводили, как только Лидия Перепрыгина снова забеременела, а потом в Енисейск.

К осени 1916 г. российская армия понесла такие большие потери на фронте, что власти начали призывать и административно-ссыльных. Даже тридцатисемилетнего Иосифа Джугашвили, невзирая на его физические дефекты, вызвали на призывной пункт в Красноярске. Впрочем, в феврале 1917 г. его признали негодным к военной службе. К тому времени самодержавный режим уже обваливался; политических ссыльных фактически никто уже не охранял и не задерживал. По Транссибу Сталин с Каменевым добрались до Ачинска. 2 марта 1917 г. Николай II отрекся от престола, Временное правительство пришло к власти в Петрограде, и старый режим пошел на слом. Министров арестовали, ссыльных и заключенных освободили. На собрании ссыльных в Ачинске Каменев послал телеграмму благодарности великому князю Михаилу за то, что тот вслед за старшим братом отрекся от престола: эту глупость Сталин никогда не давал Каменеву забыть.

12 марта Сталин, Каменев и другие бывшие ссыльные приехали в Петроград и начали конспиративную работу, подготавливая возвращение Ленина и захват власти. Первым делом они взяли в свои руки газету «Правда»; статьи набирали сами. Товарищи прощали Кобе грубость, суровость, несговорчивость в интересах предстоящей борьбы.

Одинокий садист

*Невысказанная мысль не может вредить,
А слов, раз сказанных, уж не вернуть.
Поэтому старайся найти лучший способ
Для исполнения задуманного.*

Король Шотландии Яков VI (в возрасте пятнадцати лет)⁶

До 1913 г. Сталин на Кавказе или в Вологде своим поведением, мышлением и нравственностью мало отличался от других революционеров. А вот в 1917 г. ожесточившийся отшельник уже не годился в коллеги или в товарищи: он должен был стать или бунтарем, или вождем. Равных себе он не выносил и признавал превосходство всего одного человека – Ленина. С некоторыми товарищами, например с Каменевым, он был на «ты», но на дружбу они не могли претендовать. После того как Като Сванидзе и Сурен Спандарян умерли, всякий человек, мужчина или женщина, который думал, что их связывала со Сталиным дружба или любовь, обманывался.

Уже несколько лет Сталин был сообщником в убийствах – покушениях на чиновников, отмщении за смерть революционеров; возможно, он даже предавал товарищей. Но в пору эйфории, когда из сибирской ссылки он вернулся в Петроград и уже чувствовал вкус власти, вряд ли он помышлял о том поголовном истреблении врагов и манипуляции товарищами, которыми он через десять лет займется. В 1917 г. его превращение в будущего диктатора было обусловлено не столько какой-то внутренней программой и не просто отсутствием у него совести, сколько вихрем революции, соблазнами власти, характером и слабостями его товарищей и подчиненных.

Во всех других отношениях циник, Сталин тем не менее исповедовал один постоянный идеал – ленинизм. С первых встреч с Лениным в 1906 и 1907 гг. до начала 1920-х гг., когда он стал опекуном, переводчиком и распорядителем при тяжелобольном вожде, Сталин смотрел на него, как ученик на Иисуса Христа. Можно трактовать Сталина как святого Павла, святого Петра, Фому неверующего или просто Иуду ленинской церкви, но все, что написано Лениным, оставалось для Сталина священным.

Эта доля искренности в мыслях Сталина видна в его переписке со стихоплетом-большевиком Демьяном Бедным (26). В 1920-х гг., когда Сталин еще не научился полностью обходиться без друзей, Демьян Бедный был одним из очень немногих собеседников, которые могли себе позволить свободно и без политесов выражать свои мысли в письмах к Сталину и даже рассчитывать на ответ в таком же тоне. Переписка 1924 г. между Сталиным в Кремле и Бедным в Ессентуках (27), как и сталинские пометки на полях книг, доносят до нас необдуманные неосторожные слова и помогают лучше понять личность Сталина:

Сталин – Демьяну Бедному, 15 июля 1924 г.

«...Я необыкновенный лентяй насчет писем и вообще переписки...
Наша философия не “мировая скорбь”, нашу философию довольно метко передал американец Уитмен: “Мы живы. Кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил”».

Демьян Бедный – Сталину, 29 июля 1924 г.

⁶ Перевод Д. Рейфилда.

«Родной, я не могу похвалиться, что знаю Вас “вдоль и поперек”. Да это, пожалуй, и неосуществимо. Чего бы Вы тогда стоили?

Но до какой-то, наивозможной степени “достижение Сталина” должно дойти... вы для меня “стержневой”, “осевой” друг... Если далеко заедете на Кавказ, то привезите мне кабардиночку».

Сталин – Демьяну Бедному, 27 августа 1924 г.

«Здравствуйте, друг, Вы совершенно правы, что знать человека вдоль и поперек невозможно... Но помочь Вам в этом отношении я всегда готов. [Затем следует десятистраничный машинописный трактат о том, как Ленин различал диктатуру пролетариата и диктатуру партии; трактат заканчивается следующими словами:]...в отношении к пролетариату... партия не может быть диктаторской силой... Прошу это мое письмо не размножать, не кричать...»

Демьян Бедный оторопел от этого проявления сталинского менторства: «Родной! Вместо кабардиночки Вы огрели меня трактатом». Другие замечания Сталина – о том, как надо хитрить с оппозицией, нападая на их вождей, но ухаживая за рядовыми, чтобы покончить с фракциями и группировками, – не вызвали у Демьяна недоумения. В этом отношении они со Сталиным разделяли позицию:

«Если самые лучшие муж и жена круто заспорят, хотя бы распринципально, спор может кончиться тем, что либо муж кого-то выебет, либо у него жену уебут. Я уверен, что мы с вами и от чужого не откажемся, и своего не упустим, а если упустим, так потому, что – “она блядь”, хотя бы и увешанная цитатами».

Переписка Бедного со Сталиным передает противоречивые черты сталинской мысли, грубой в тактике и выражениях, утонченной в исповедуемой идеологии.

Ту же двойственность можно проследить в отношениях Сталина с женами и детьми. С одной стороны, его поведение можно приписать грузинским и горским обычаям – жена ни в коем случае не должна унижать своего мужа перед обществом, обращаться с ним неуважительно или легкомысленно. Дети тоже, даже самые любимые, должны быть всегда почтительны, особенно в присутствии чужих. У грузин-горцев не принято, чтобы муж выказывал перед посторонними привязанность к жене и детям; когда опасность грозит всем, он не должен заботиться о спасении только собственных детей.

Даже по этим меркам Сталин был исключительно бесчувственным родителем. Только после заключения второго брака в 1917 г. он заинтересовался судьбой сына Якова, воспитание которого он передоверил почти с рождения своей невестке и Михаилу Монаселидзе. Когда в 1928 г. Яков попытался покончить с собой, Сталин приветствовал его словами: «Ха, промахнулся!» Яков сбежал к родителям мачехи, к Аллилуевым. Сталин написал Надежде Аллилуевой, своей второй жене: «Передай Яше от меня, что он поступил, как хулиган и шантажист, с которым у меня нет и не может быть больше ничего общего. Пусть живет, где хочет и с кем хочет» (28).

В 1941 г., спустя месяц после начала войны, Яков попал в плен. Сталин отказался от предложения посредника, графа Бернадота, вступить в переговоры о его освобождении. Более того, он отправил жену Якова в ГУЛАГ как жену дезертира, и, когда немцы напечатали фотографию Якова в своих листовках, Сталин попросил Долорес Ибаррури (знаменитую Пассионарию), главу испанских коммунистов, заслать тайных агентов в лагерь военнопленных, чтобы, вероятно, убить Якова. Через два года, однако, отчаявшийся Яков бросился на электрическую проволоку, где его прикончили немецкие пули.

Со своей дочерью Светланой, однако, Сталин сперва был ласков, даже игриво называл ее Хозяйкой, Сатанкой. Но как только она выросла и начала, не задумываясь о последствиях, влюбляться, он и ее разлюбил и редко допускал до себя.

Супружеская жизнь Сталина постоянно находилась на грани патологии. Его пытливый ум, интеллект педанта и самоучки, в сочетании с угрюмо-романтическим выражением лица, несомненно, привлекали женщин, особенно молодых и неопытных. Среди переписки Сталина в его личном архиве нередко встречаются послания от забытых возлюбленных: «Брат Сосо, я та, которая была сестрой, неразделимым другом твоей матери... в Сибирь посылала Вам разные посылки... как были в Сибири, помогали [матери]; за вами ухаживала очень красивая соседка Лиза – это я» (29). Первая жена, Като, вовсе не была безмолвной крестьянкой – ее воспитывали домашние учителя, ее брат учился в университете в Германии, но, насколько нам известно, она никогда не жаловалась на мужа и, как нормальная грузинская жена, не совалась в мужнины дела. Другие связи Сталина, с Онуфриевой, с Перепрыгиной, его второй брак с семнадцатилетней Аллилуевой не выявляют каких-либо ненормальных черт в его сексуальности, если не считать склонности к очень молодым девушкам.

Сталину нравилось обнаженное женское тело, о чем свидетельствуют собранные им почтовые открытки. Читая диалог Анатоля Франса о стыдливости, он подчеркивал красным карандашом замечание: «Немногие из [женщин] знают, как прекрасна нагота... Растение с гордостью показывает то, что человек скрывает» и написал на полях: «Оригинально весьма...» Через десять лет, еще раз овдовев, Сталин прочитал дневник, который вела жена Льва Толстого в 1910 г., в последний и самый несчастный год их столь сложной супружеской жизни. В ее записях Сталин находил много пищи для размышлений; в особенности он выделил запись Софьи Андреевны: «Трубецкие одни купались, муж с женой прямо в речке, поразили нас этим» (30).

Говорили, что Сталин изнасиловал Надежду Аллилуеву в поезде и поэтому должен был на ней жениться. Ходили даже слухи, что в Баку он переспал с ее матерью за девять месяцев до рождения Надежды. (Бурный темперамент Ольги Аллилуевой, тот факт, что она и Сталин жили в одном и том же городе в 1900 г., и внезапный разрыв между Сталиным и Надеждой в 1931 г. не подтверждают, но и не исключают такую возможность. Конечно, у Надежды Аллилуевой были другие достаточно веские причины, чтобы покончить с собой в 1932 г.)

Одержимый погоней за властью и подавлением любого сопротивления, в других сферах жизни Сталин мог казаться относительно нормальным. О сексуальной патологии не приходится говорить. Надежда два раза родила и, судя по медицинским архивам, у нее было десять аборт. После ее смерти, зная хорошо документированную сталинскую повседневную жизнь, мы можем сказать, что вряд ли вождь находил время для романов. Может быть, эпизодически роль наложницы играла экономка Валентина Истомина, и не одна балерина и оперная певица пишет в своих воспоминаниях, что была любовницей вождя в 1930-х или 1940-х гг. Как любовник Сталин почти наверняка был груб и невнимателен, но никакая теория сексопатологии не проливает свет на хладнокровный мстительный садизм Сталина.

Может быть, в его суровом быту мы найдем ключ к неумолимой концентрации Сталина на делах, к его неспособности смягчаться. В его окружении почти не было людей, которых он не был бы готов истребить, как почти не было вещей, которые бы он ценил. К его услугам были богатства половины мира, но он жил в плохо обставленных комнатах и спал на неудобных диванах. Гардероб его был скуден. Пусть не до такой степени аскет, как Гитлер, Сталин мало интересовался физическими удовольствиями. Еду он любил простую, не изысканную: главное, чтобы она не была отравлена. Он пил и курил умеренно, заставляя пьянствовать своих гостей; знаменитая трубка раскуривалась редко – она была бутафорией.

Сталин любил причинять боль, и это можно объяснить тем, что он сам никогда не был свободен от боли. Антигерой в повести «Записки из подполья» Достоевского говорит, что тот, кто страдает от зубной боли, хочет, чтобы и другие так же страдали. Эта логика применима к поведению Сталина. Мучения, которым он подвергал других, происходили от его собственных. Ему причиняли боль не только сросшиеся пальцы ноги, но и левая рука – она до того атрофировалась, что к пятидесяти годам он уже не мог удержать в ней чашку чая. Из сохранившихся материалов ежегодных медицинских обследований мы видим пожилого мужчину, страдающего от постоянной боли. В 1920-х гг. Сталин страдал ишиасом в обеих ногах и хронической миалгией, артритом и атрофией мускулов. После удаления аппендикса в 1926 г. его, вследствие раздражения кишечника, одолевали поносы, не позволявшие ему отходить далеко от туалета. Как и другие большевики, после тюрьмы он страдал туберкулезом, и, хотя болезнь отступила, поврежденное правое легкое прилипло к плевре. Голос его был слишком слаб, чтобы выступать без микрофона. К 1930 г. состояние его зубов было плачевным. В Сочи известный зубной врач, Яков Ефимович Шапиро, удалил ему целых восемь корней и поставил коронки на уцелевшие зубы (31). Он постоянно подвергался головокружениям, инфекциям кишечника и дыхательных путей; часто жаловался, особенно накануне своих долгих летних отпусков на юге, на симптомы душевного расстройства – измождение, раздражительность, ослабление внимания и памяти.

Сталинское параноидальное недоверие к лечащим врачам не было совершенно беспочвенным. Грубые ошибки в диагнозах и последовавшие за ними неожиданные смерти Дзержинского в 1926 г. и Жданова в 1948 г. наводят на мысль, что кремлевские врачи были не очень надежны, если не хуже. Подозрительность Сталина развилась до такой степени, что он сам выписывал лекарства из аптеки под чужой фамилией и заставлял телохранителя пить лекарство до него. В 1934 г. он припер к стенке доктора Шнейдеровича вопросом: «Доктор, скажите, только говорите правду: у вас временами появляется желание меня отравить?» Шнейдерович, разумеется, заверил Сталина, что такого желания у него нет; тогда Сталин продолжал: «Вы, доктор, человек робкий, слабый, никогда этого не сделаете, но у меня есть враги, способные это сделать». 5 января 1937 г. во время застолья Сталин заметил профессору Валединскому: «Среди врачей есть враги народа» (32). Через пятнадцать лет Сталин принял меры, небывалые в истории тиранов, и велел своим подручным разобраться с врачами.

Физическая и душевная боль, конечно, не объясняет, почему Сталин истреблял целые классы и сословия, но помогает понять бешеные срывы, когда он бросал верных слуг своим волкам на растерзание.

Для Троцкого и других жертв сталинский феномен был легко объясним: это просто бандит, убийца, самозванец, предатель – «Чингисхан, прочитавший Маркса», как говорил Бухарин. Но граница, отделяющая экспроприацию от грабежа, казнь от убийства, тактический маневр от предательства, довольно зыбка, и по большей части революционеры переступают или просто не замечают ее. Сталина отделяет от Ленина, Троцкого, Свердлова и остальных то, что он был готов с самого начала практиковать преступные меры (которые для других были все-таки крайним средством) и применять их равно к друзьям и к врагам. Конечно, для того чтобы захватить власть и устранить противников, революция часто прибегала к услугам преступников, свободных от какой бы то ни было внутренней узды, и на Сталина можно смотреть как на преступника, чьими услугами революция была вынуждена воспользоваться, как-то позабыв, однако, потом избавиться от него.

Классифицировать Сталина как серийного убийцу было бы неверно. Такие авторы, как Роман Бракман, экстраполируя поступки Сталина в 1930-х гг. на его молодость, высказывают даже необоснованное предположение, что в 1906 г. он нанял киллера, вооруженного топором, для расправы с собственным отцом. Сталин действительно извлекал политическую

выгоду из насильственных смертей своих товарищей и врагов, но далеко не всегда он был причастен к таким развязкам, начиная от смерти Камо до убийства Кирова.

Таким же образом нельзя довольствоваться характеристикой Сталина как бандита. В 1907 г., вразрез с официальной политикой социал-демократов, он выпрашивал у Ленина согласие на финансовую поддержку партии посредством грабежей, «эксов». Не исключено, что он сам участвовал в организации аварии и ограблении судна поблизости от Батума. Но большевикам такие экспроприации давали жизненно необходимые денежные средства, и сталинский энтузиазм в таких делах не отделяет его ни нравственно, ни идеологически от других террористов.

Для современников-революционеров самым тяжким обвинением против Сталина были сотрудничество с охранкой, служба агентом полиции, измена общему делу и предательство товарищей. Улик довольно много, но, даже если мы оставим в стороне поддельные документы (некоторые, может быть, Сталин сам сфабриковал специально для того, чтобы дезавуировать и подлинные свидетельства), остающиеся доказательства нельзя признать однозначными. С одной стороны, сотрудничество с охранкой нередко находило оправдание. И социалисты, и жандармы желали, чтобы большевики составляли партию настолько сильную, чтобы расколоть левую оппозицию, особенно социал-демократов, и не один полковник в тайной полиции поддерживал рабочие контакты с теми, кого он должен был бы сажать, ссылать или вешать. В 1900-х гг. взаимное проникновение тайной полиции и революционного подполья до такой степени перепутало роли, что агентам и той и другой стороны, когда они убивали, доносили или воровали, часто было трудно решать, чьих целей они добивались. Доходы молодого Сталина, его путешествия с юга на север, с востока на запад без препятствий, иногда даже быстрее, чем позволяло расписание поездов, легкость, с которой он пересекал границы с фальшивыми паспортами, – все это заставляет предположить, что он хоть какое-то время сотрудничал с охранкой.

В 1920-х – начале 1930-х гг. многие считали, что сталинское досье в архиве охранки – политическая бомба, которая уничтожит или его, или тех, кто попытается использовать этот компромат против него. Сам Сталин тщательно хранил досье всех других видных большевиков, чтобы легче расправиться с ними в подходящую минуту. Но существование такого компромата не значит, что Сталин сам был предателем революции. Как и Ленин, но, может быть, с меньшими колебаниями он использовал любое средство для достижения абсолютной цели. Если сотрудничество с охранкой доказывает, что большевик был самозванцем, то все ленинское политбюро и их революцию нужно считать каким-то капиталистическим заговором, таким же нелепым и бессмысленным, как легендарное последнее собрание компартии американского штата Юта, когда до всех присутствующих, числом семнадцать, вдруг дошло, что все они на самом деле – агенты Федерального бюро расследований.

Наиболее разительно отличает Сталина от товарищей его изоляция и нелюдимость. Пока он не увидел Ленина в 1903 г., он по-настоящему никого не уважал. В семинарии были грузины, которыми он восхищался: убитый мыслитель и поэт Ладо Кецховели или Сейт Давдариани, философ, около которого образовалась группа учеников. В 1937 г. Девдариани, уже признанного философа, расстрелял Берия, несомненно с ведома Сталина, и единственный экземпляр его рукописи «История грузинской мысли», кроме одного отрывка, погиб вместе с ним в застенках НКВД. Те семинаристы, которые имели несчастье спорить с Кобой в Тифлисе, долго не прожили.

Даже в тех случаях, когда Сталин, казалось, с кем-то дружил, условия дружбы диктовал он сам: он любил гораздо меньше, чем был любим. Ленин же остался, даже после того как его мозг был разрушен инсультами, верховным существом в глазах Сталина, таким же беспощадным и повелительным, как он сам, но более харизматичным, всегда способным найти правильную формулировку для любой теории и правильную теорию, чтобы оправдать

любое событие, умевшим убеждать с помощью иронии, логики и простой ругани. Конечно, это обожание было односторонним. Для Ленина Коба был «чудесным грузином», чья фамилия, однако, не удерживалась в памяти. Выделялся он тем, что был примитивным исполнителем воли партии вообще и Ленина в особенности, ни перед чем не останавливался, сохранял невозмутимость и спокойствие (впрочем, подчас грубил и злился) и даже умел писать политические трактаты и излагать – но не творить – доктрины.

Похвалы Ленина было достаточно, чтобы питать его самолюбие. Начав писать трактаты по-русски в 1913 г., Сталин уже далеко Запел от своих наивных грузинских газетных статей, и все благодаря Ленину. Хотя неблагодарность – один из коренных принципов сталинизма, Сталин считал Ленина родственной душой, ибо обоих отличал абсолютный цинизм, убеждение, что цель оправдывает любые средства, любой обман.

Ленина хвалят за принцип демократического централизма: решения, принятые после голосования в ЦК, были обязательны для всех. На самом-то деле, когда нужно было, мнение меньшинства выдавали за голос большинства. В этом процессе фальсификации Сталин был переимчивым учеником Ленина, что он сам объяснял Молотову: «Допустим, в состав ЦК входят 80 человек, из них 30 стоят на правильных позициях, а 50 не только на неправильных, но являются активными врагами политики. Почему большинство должно подчиняться меньшинств}//? [...] Не было такого положения, чтобы меньшинство исключало большинство. Это постепенно происходит. Семьдесят исключили 10–15 человек, потом 60 исключили еще 15... И постепенно, все было в порядке демократического централизма, без нарушения формального правила. По существу, это привело к тому, что в составе ЦК оказалось меньшинство из этого большинства» (33).

2. Сталин, Дзержинский и ЧК

*До могилы он будет бороться с мрачными
тучами;
Тысячу раз отбитый, он не перестанет
восставать.*

*Феликс Дзержинский*⁷

Перед захватом власти

Тот Петроград, куда ринулись Сталин, Каменев, Ленин и Троцкий из Европы или Сибири весной и летом 1917 г., был неузнаваем для тех, кто его покинул, когда это еще был Петербург. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, – так им тогда казалось. Освободившись от царя и царского двора, Россия жила под парламентской эгидой великих, добрых, разумных мужей. Либералы-аристократы (конституционные демократы, или кадеты) делились властью и трибунами с социалистами и временно отдыхающими террористами. Такой человек, как Александр Керенский, адвокат и думский оратор, министр юстиции в первом составе Временного правительства, затем премьер-министр, мог бы управлять мирной скандинавской страной. Он и ему подобные занимались отменой смертной казни, введением свободы слова и собраний. Они разрушили все орудия угнетения: жандармерию, карательную систему. Улицы наполнялись толпами народа, безнаказанно требующего немедленного удовлетворения. Домохозяйки требовали хлеба, рабочие – участия в управлении фабриками и заводами, моряки и солдаты – ареста офицеров.

В действительности произошла демографическая и политическая катастрофа. На фронте погибли миллионы крестьян, а те, кто выжил, бежали, чтобы захватить помещичью землю. Погибли и сотни тысяч офицеров, некоторые от рук своих же солдат. Оставшихся в деревне не хватало для того, чтобы кормить города. Война оторвала Россию от ее европейских союзников; остался только бесконечный железнодорожный и морской маршрут через Скандинавию или через всю Сибирь, Тихий океан и Соединенные Штаты. Правительство, состоявшее из благонамеренных и добросовестных деятелей, не справлялось со своими задачами, особенно перед лицом дилеммы – остановить войну и заключить мир с Германией, тем вызвав гнев англичан и французов и бунт собственных офицеров, или бороться «до победного конца» и обречь страну на неизбежный крах и настоящую революцию, оставив ее на растерзание большевикам и социал-революционерам.

Правительство Керенского колебалось, но, даже если бы оно и приняло твердое решение, таковое было бы невыполнимо. Керенский находился в тисках между офицерским корпусом, который стремился к восстановлению порядка и к возобновлению войны против немцев, и рабоче-солдатской массой, которая отнимала власть у Думы и передавала ее своим советам. Тщетно мобилизуя одних противников против других, Керенский неустанно ораторствовал, умолял, угрожал, пока все не перестали принимать его всерьез.

Ленину или Троцкому, а тем более деятелям рангом ниже, таким как Сталин, было нетрудно ускользнуть от властей, вяло пытавшихся их арестовать. Общественное мнение, уже полностью деморализованное, не видело пользы в их истреблении. По мере того как

⁷ Здесь и далее цитаты из стихотворений и писем Ф. Дзержинского на польском языке даются в переводе Д. Рейфилда.

обострялся дефицит продовольствия, исчезали транспорт и система медицинских услуг, а мародеры становились повседневной угрозой на улицах и в домах, городское население дозрело до того, чтобы приветствовать любую силу – будь то левую или правую, – которая захватит власть и возьмёт на себя принятие решений. Весенняя эйфория в течение лета сменилась разочарованием, которое к осени переросло в отчаяние. Когда в конце октября большевики, захватив железнодорожные узлы и телефонные станции, наконец нанесли свой удар и наступили те десять дней, которые потрясли мир, даже самые принципиальные их противники не сопротивлялись. Тот факт, что одна группа людей берет ответственность за будущее, был поводом к общему облегчению. Их вожди и идеология выглядели зловеще, но была надежда, что они покончат с бесконечным колебанием, заполнят пустоту.

Феликс Дзержинский: первые сорок лет

Петроградская и московская публика знала только о Ленине и Троцком; остальные большевики, как призраки, выходили из подполья. Самым неизвестным членом ЦК, захватившего власть, был закулисный постановщик революции Сталин. Самым блестящим гением революции казался Лев Троцкий, создавший из мятежных дезертиров, безработных и безземельных крестьян Красную армию. Ленин громко ораторствовал, уговаривая и страшая склочных товарищей, чтобы приняли хоть для виду одну и ту же линию. Но революция еще требовала третьего человека, чтобы защищать ее от врагов: ее нужно было вооружить против врагов, левых и правых, которые хотели не марксистской диктатуры, а многостороннего демократического форума.

Прошло всего шесть недель после переворота, а враждебность общества к новой власти уже дошла до такой степени, что большевики учредили свою тайную полицию. Феликс Дзержинский, поляк, уже лысеющий человек с бледным от тюремных мытарств лицом, вызвался создать карательную и устрашающую разведслужбу, официально именовавшуюся «Всероссийской чрезвычайной комиссией». Создавая ЧК, Дзержинский стал образцом для всех будущих советских (и постсоветских) глав тайной полиции и точно так же, как Ленин, задал тон и роль будущим советским государственным и партийным вождям. Именно симбиотический союз Дзержинского и Сталина определит судьбу СССР, когда Ленин смертельно заболевает.

Посторонним могло казаться, что Дзержинский так же мало годится в вожди, как и Сталин. Но он оказался идеальным главой для репрессивной организации. Как и Сталин, он был нерусским и, по меркам Ленина и Троцкого, не был интеллигентом. Но у Дзержинского был уникальный опыт. Никто, кроме него, не работал так усердно и так долго – одиннадцать лет – в тюрьмах и ссылках, разоблачая предателей революционного движения. Он был, как гордо вспоминала его вдова, председателем группы заключенных, допрашивавшей тех, кого они подозревали в провокациях. Никто так пламенно не жертвовал собой для пользы дела, как Дзержинский: его чувство долга и приличия было гипертрофированным. Начиная с весны 1918 г. у себя в кабинете на

Лубянке Дзержинский сам допрашивал задержанных, рылся в их досье и выезжал на облавы. Как и Сталин, Дзержинский любил захватить жертву на рассвете и предпочитал работать ночью. Как и Сталин, Дзержинский предоставлял своим подчиненным только одно дело – физическую казнь. Только раз в жизни Дзержинский собственной рукой убил человека – пьяного матроса, обругавшего его, – и после этого с ним случились судороги. Еще более аскетичный, чем Сталин, Дзержинский-тюремщик жил точно так же, как Дзержинский-заключенный, питаясь мятным чаем и сухим хлебом, в холодном кабинете, накрываясь шинелью вместо одеяла. Он сам скручивал папиросы с махоркой.

В отличие от Сталина Дзержинский был педантически строг. Он выбросил блины, приготовленные сестрой, только потому, что она купила муку у спекулянта; уволил племянницу и того человека, который дал ей работу на железной дороге, за то, что она злоупотребила их фамилией. Только раз в жизни он посетил выставку картин – и в ужасе убежал, прикрыв лицо руками. На концертах он не бывал, и его единственным чтением были марксистские трактаты и романтическая польская лирика. Своего сына он отдал на воспитание в рабочую семью, «где легче сохранить и обогатить душу». Любовь, красоту, правду он видел только в своей работе.

Его наследник, Вячеслав Менжинский, с обожанием писал в некрологе Дзержинского: «Для того чтобы работать в ЧК, вовсе не надо быть художественной натурой, любить искусство и природу. Но если бы у Дзержинского всего этого не было, то Дзержинский, при всем

его подпольном стаже, никогда бы не достиг тех вершин чекистского искусства по разложению противника, которые делали его головой выше всех его сотрудников» (1).

Дзержинский внушил ЧК и потом ОГПУ, НКВД и КГБ псевдодыцарское представление о себе как о «мече и пламени революции», убеждая их, что они должны составлять центральную, а иногда и верховную власть. Основные чекистские принципы – «каждый коммунист должен быть чекистом», «не бывает бывших чекистов» – заложены Дзержинским, несмотря на то что сам он всегда утверждал, что ЧК должна подчиняться власти вождя партии, быть исполнителем, а не создателем идеологии и политики.

Без поддержки и авторитета Дзержинского Сталин вряд ли пришел бы к власти. В 1922 г. Дзержинский увел полмиллиона подчиненных ему чекистов из оппозиционного лагеря Троцкого и примкнул вместе с ними к Сталину, который вслед за Лениным старался ублажить тех в партии, кто желал гражданского мира, частичной реставрации капитализма и правового порядка. С 1917 по 1921 г. Дзержинский, как верный пес Ленина, делал больше, чем Сталин, для революционного единства, но, когда потребовалось выбирать между фракциями, Дзержинский решительно принял сторону Сталина.

Что именно сблизило двух людей, на первый взгляд таких разных по темпераменту и этническому происхождению? Дзержинского и Сталина, как многих образованных поляков и грузин конца XIX в., влекло друг к другу. Грузины учились или отбывали ссылку в Польше, где они находили такое сочувствие и понимание, которого не нашли бы ни в Москве, ни в Петербурге. У поляков и грузин были общие традиции и ценности – культ чести и рыцарства, любовь к красноречию, гордость своим потерянным средневековым величием. Оба народа верили, что они избранники Божьи, защищающие христианскую веру и культуру, будь она католическая и европейская или православная и византийская, от восточных варваров.

И в личной жизни у Сталина и Дзержинского было много общего, помимо сурового отца и преданной матери. С детства до юности их направляли на духовном поприще и мать, и собственный темперамент: юный Сталин мог бы повторить то, что молодой Дзержинский сказал своему брату: «Если бы я когда-нибудь заключил, что Бога нет, я бы пробил свою голову пулей». В возрасте девятнадцати лет оба переметнулись в атеизм и революцию. Ни с кем не общаясь, никогда не улыбаясь, они проводили годы, сидя в тюрьме или охотясь в сибирской ссылке. В противоположность другим революционерам, они не предавались спорам в швейцарских кафе, не занимались во французских библиотеках. В отличие от неразлучных со своими женами Ленина и Троцкого они довольствовались лишь краткими эпизодами какой-никакой супружеской жизни; оба оставили у себя на родине маленьких сыновей, которых почти не знали. Оба в юности писали стихи; оба наставляли и учительствовали, но не формулировали и не анализировали самого учения. Оба чуждались громких выступлений и теоретических дискуссий. Сталин и Дзержинский не завершили своего образования и говорили по-русски с акцентом. Они гордились собственной отстраненностью от других и нюхом на предательство.

Неудивительно поэтому, что, встретившись мимоходом всего раз в 1906 г., через одиннадцать лет в революционном Петрограде они сразу признали друг в друге союзников.

Конечно, во многом Сталин и Дзержинский коренным образом отличались друг от друга. Феликс Дзержинский остался польским дворянином, пусть даже его обедневшая семья владела только небольшой усадьбой в сотню гектаров в литовско-белорусском приграничье. В отличие от Сталина Дзержинского опекала образованная мать, и его всю жизнь окружали любящие сестры. Так же как и Сталин, Дзержинский рано лишился жестокого отца, но семья с братьями, сестрами, племянниками и племянницами была привязана к нему, несмотря на политические расхождения. Дзержинский, в отличие от Сталина, оставался двойственной натурой. В 1919 г., расправляясь в ходе красного террора с тысячами жертв, Дзержинский мог все-таки с братской любовью написать своей старшей сестре Альдоне:

«Одну истину я тебе могу сказать. Я остался тот же. Я чувствую, что ты не можешь мириться с тем, что это – я, и зная меня, ты не можешь понимать. Любовь. Сегодня, как в прошлые годы, я слышу и чувствую гимн к ней. Этот гимн требует войны, непреклонной воли, безустанного труда. И сегодня, кроме идеи, кроме стремления к справедливости, на весы моих действий ничто не действует. Мне трудно писать, мне трудно спорить. Ты видишь только то, что есть, и то, о чем слышишь с преувеличенной яркостью. Ты и свидетель, и жертва военного Молоха. Почва, которая тебя раньше держала, теперь крушится под твоими ногами. Я – вечный странник, в постоянном движении, в процессе перемены и творения новой жизни. Ты обращаешь мысли и душу к прошлому – я вижу будущее, и мне хочется, мне надо быть в движении. Ты когда-нибудь размышляла, что такое война на самом деле? Ты оттолкнула от себя видения тел, разорванных снарядами, раненых на полу, ворон, выклевывающих глаза у еще живых людей... А меня, солдата революции, ты не можешь понимать... Моя Альдона, ты меня не понимаешь – мне трудно писать тебе больше. Если бы ты видела, как я живу, если бы ты посмотрела мне в глаза, ты поняла бы, точнее, почувствовала, что я остался тем, кем всегда был. Целую тебя крепко. Твой Фель» (2).

Отец Феликса, Эдмунд-Руфин, в молодости получал скромный учительский доход. Он соблазнил свою ученицу Елену Янушевскую. Они поженились, но должны были покинуть Литву. Эдмунд-Руфин с невестой переехали в Таганрог, где он преподавал математику в гимназии. Среди его учеников были Александр, Антон и Иван Чеховы. Историк Таганрогской гимназии Филевский, сам бывший ученик Дзержинского-старшего, писал в 1906 г., что Дзержинский был «болезненно и крайне раздражительный» человек, который мучил мальчиков (3). В 1875 г. Эдмунда-Руфина заставили уволиться, и он вернулся в Литву в свое имение.

Из семерых детей Эдмунда-Руфина и Елены бунтовал только Феликс; его братья и сестры большей частью старались жить дворянской или хотя бы буржуазной жизнью. Когда отец скоропостижно умер в 1883 г., старшая сестра Альдона стала второй матерью для младших (она была семью годами старше Феликса). Но в 1892 г. случилась еще одна беда: Феликс со старшим братом Станиславом играли с ружьем. Нечаянным выстрелом один из них убил четырнадцатилетнюю сестру Ванду. Может быть, из-за этого несчастья Феликс вдруг отрекся от веры в Бога и царя. О смерти Ванды он никогда не говорил и приписывал свое отпадение впечатлению от увиденной им в 1893 г. расправы казаков с местными крестьянами. Как и Сталин, Дзержинский превратил отвращение к русским завоевателям в ненависть ко всем власть имущим. Потом он признался: «Я мечтал о шапке-невидимке и об уничтожении всех москалей».

В 1896 г. умерла Елена; младших продолжала воспитывать одна Альдона. Но вся семья любила свою паршивую овцу: Альдона ходила к Феликсу, когда он сидел в тюрьме, посылала ему посылки и письма даже тогда, когда он стал главой ЧК и конфисковал семейное имение. Альдона вышла замуж и жила в независимой Польше, лично преданная, хотя политически враждебная Феликсу (4). Другая старшая сестра, Ядвига, вместе со своей дочерью (тоже Ядвигой) переехала в Советскую Россию, чтобы помогать Феликсу (обеих в 1930-х гг. арестовали, и Ядвига-старшая умерла в ГУЛАГе). Станислав Дзержинский стал биологом; его убили неизвестные бандиты в семейном имении во время революции (5). Из двух младших братьев Владислав стал профессором медицины, а Казимир – инженером. Они дорого поплатились за свое родство – их убили гестаповцы в 1941 и 1942 гг. Из всех братьев Феликса только один, Игнатий (1880–1953), умер своей смертью.

Как и Сталин, Дзержинский бросил гимназию, не сдав выпускных экзаменов. Он скрывался на фабриках и в трущобах Вильны, занимаясь марксистской агитацией среди рабочих. Ему пришлось выучить, кроме русского, идиш и литовский. Не достигнув и двадцати лет, он уже произвел впечатление на польских социал-демократов, убедив их оставить польский

национализм и парламентаризм и стать в ряды международных революционеров. Подобно Сталину, Феликс сочетал фанатичное бунтарство с романтическим созерцанием. Его неизданные стихи подражают декадентскому настроению модернистов «Молодой Польши», особенно его любимого поэта Антония Ланге. Вот несколько строк, типичных для болезненного поэтического воображения Дзержинского:

Каждую ночь нечто навещает меня,
Бестелесное и беззвучное,
Некое таинственное видение
Стоит надо мною в молчании. [...]
Дарит оно мне поцелуй,
Но этот дар непонятен мне:
Предлагаешь ли мне свое сердце
Или смеешься надо мной, о ледяная Дама? (6)

В отличие от Сталина Дзержинский всю жизнь пленялся сентиментальным болезненным рыцарством, даже тогда, когда он действовал с беспощадным хладнокровием. Годы тюрем и ссылок отучили его от нормальной жизни, так что он применял принципы Маркса и Ленина к общественной жизни точно с тем же простодушием, с каким адаптировал польский романтизм к своей личной жизни. 27 мая 1918 г. он писал, точно отшельник в пустыне, своей жене, остававшейся пока в Цюрихе:

«Некогда думать о семье или о себе... чем мощнее колесо врагов, окружающих нас, тем ближе оно к моему сердцу... Каждый день я должен брать в руки оружие еще более страшное... Я должен быть столь же страшным, чтобы, как верный пес, разорвать злодея на части... Живу своими нервами... Собственное сознание приказывает мне быть грозным, и у меня хватит воли, чтобы исполнять это веление до конца...»

Как Сталин в Вологде, Дзержинский в ссылке тоже привлекал женщин. В Вологде Сталин опекал Полину Онуфриеву; в 1898 г. в Вятке Дзержинский учился у Маргариты Федоровны Николаевой, женщины на три года старше его, тоже ссыльной. Феликсу тогда был двадцать один год, и это была его первая ссылка. Он назвался женихом Риты и добровольно поехал за ней еще дальше на север, в Нолинск. Здесь, получая от жандармов по пять с половиной рублей в месяц, они жили вместе. Она была хорошо образованной дочерью священника, и ее стараниями Дзержинский научился грамотно писать по-русски. Он даже смог прочитать по-русски «Капитал», но признавался, что читать классику, например «Фауста» Гете, на русском языке – выше его сил.

Дзержинский очень рано уверовал в собственную духовную силу. Он писал Альдоне: «Когда я увлекаюсь и начинаю защищать свои взгляды слишком горячо, выражение моих глаз так устрашает моих противников, что они не в силах смотреть мне в лицо». Через двадцать лет, в 1919 г., он писал сестре с восхищением: «Для многих людей нет ничего страшнее моего имени».

На русских жандармов Дзержинский производил совершенно другое впечатление: он был не страшен, а «пылок, раздражителен, необуздан». В январе 1899 г. они сослали его дальше на север, в поселок Кайгородское. Здесь он проводил целые дни с ружьем, охотясь на дичь. Товарищи по ссылке подарили ему медвежонка; он научил зверя танцевать, и тот даже ловил судаков для хозяина. Но медведь вырос и начал душить кур и нападать на коров; Дзержинский посадил его на цепь. Но медведь все-таки бросался на прохожих, и Дзержинский застрелил его. Отношения с Ритой тоже ухудшались, несмотря на ежедневную пере-

писку. Она уговорила жандармов пустить ее в Кайгородское, где они снова зажили вместе. Но, как и медведь, она ему уже надоела. В августе Дзержинский сбежал. Жандармы не особенно усердствовали, распространяя описание высокого и стройного рыжего мужчины, чей «облик дает впечатление заносчивости». Через пару недель Дзержинский уже находился в Польше и начал работу по размежеванию радикально интернационалистской Социал-демократической партии Королевства Польши и Литвы с остальными польскими социал-демократами. Рита была забыта.

Через год его опять поймали, и в тюрьме он испытал глубокую человеческую привязанность. Он ухаживал за заключенным Антеком Росулом, который умирал от туберкулеза. Страдания Росула Дзержинский помнил всю жизнь; те страдания, которым он сам потом подвергал своих жертв, он, несомненно, считал воздаянием за те муки, которые Росул претерпел от царских тюремщиков (7).

Через два года Феликса сослали в Якутию. В сибирской тюрьме он организовал забастовку политических заключенных, а потом в ссылке проводил целые дни на охоте. Его жена вспоминает, что он застрелил самку лебедя, а когда прилетел самец, выстрелил и в него, чтобы вдовец не страдал, но промахнулся и был сильно удивлен, когда лебедь сам покончил с собой, ударившись о землю. «Юзеф [подпольное имя Феликса. – Д. Р.] рассказывал это с волнением, удивляясь верности лебедя» (8).

В 1903 г. Дзержинский вновь бежал из ссылки. Несколько недель спустя он, теперь живая легенда, возник сначала в Берлине, потом в Кракове. Его новая невеста, Юлия Гольдман, была романтична, в духе призрачных героинь его стихов. Она умерла от туберкулеза в 1904 г. В 1905 г. Дзержинский вернулся в Варшаву и начал провоцировать бунты и забастовки. Забастовки и последующие аресты привели к уступкам и амнистиям со стороны нового правительства. Дзержинского уже считали ключевой фигурой в российском социал-демократическом движении. В 1906 г. он был на съезде в Стокгольме, где познакомился с Лениным, Сталиным, Ворошиловым, Рыковым и Плехановым. Ленину понравилась целеустремленность поляка. Он считал Дзержинского, как и Сталина, неотесанным, но ценным субъектом – послушным исполнителем любых заданий. Пройдут годы, и Дзержинский начнет тяготиться покровительственным отношением Ленина к себе.

В 1908 г. жандармы в очередной раз арестовали Дзержинского. Он просидел достаточно долго для того, чтобы полностью овладеть искусством допроса, доноса и возмездия. Очень многие из тех указаний, которые он через десять лет даст ЧК, основаны на практике царских следователей и надсмотрщиков или на его собственном опыте и наблюдениях о психологии заключенного. Дзержинский стал догматическим большевиком: спорил с еретиками, особенно с отрицавшими марксизм эсерами. Усердно занимался расследованиями, расчетами, очными ставками, чтобы выявить, кто из заключенных был стукачом, предателем или двойным агентом. Весь этот опыт он потом использует в чекистской работе.

Все это Дзержинский очень живо описывал в своем «Дневнике узника» («Pamiętnik więźnia»), напечатанном в польском «Красном знамени» («Czerwony sztandar») в мае 1908 – августе 1909 г. Странно, что будущий палач так же трогательно, как Виктор Гюго или Достоевский, описывал, что испытывают жертва, другие заключенные, зрители при повешении, и подчеркивал гнусность и ужас смертной казни. Уму непостижимо, как Дзержинский мог забыть, когда сам посылал тысячи людей на расстрел, строки, написанные им всего за десять лет перед тем:

Ночью с 8-го на 9-е казнили польского революционера Монтвилла.

Пока еще было светло, сняли кандалы и перевели его в смертную камеру. Судили его 6-го. У него не было иллюзий, и 7-го он попрощался с нами через окошко, во время нашей прогулки. Его казнили в час ночи. Палач Егорка получил, как всегда, 50 рублей за работу. Анархист К. рассказал

мне, стуча в потолок, что «они решили не спать всю ночь», и жандарм мне сказал, что одна мысль о казни «заставляет содрогаться и не можешь заснуть и постоянно ворочаешься». И после этого ужасного преступления здесь ничего не изменилось: ясные солнечные дни, солдаты, жандармы, смена караула, прогулка. Только в камерах стало тише, не слышно голосов, поющих песни, многие ждут своей очереди.

Дневник вопиет против жестокости царских судов, против пыток; Дзержинский превозносит дисциплину социал-демократов и осуждает безнравственность анархистов. Справедливость суждений сначала поражает, но потом озадачивает тот факт, что человек, написавший эти строки, скоро станет тюремщиком куда более жестоким, чем те, кого он обличает. Узколюбое самомнение Дзержинского не давало ему осознать собственные противоречия. Довольный тем, что перехитрил жандармов, допрашивавших и стерегших его, он хвалил собственную тонкую интуицию – ведь он сумел разоблачить осведомительницу Ханку, которая донесла на революционеров, освободивших ее из сумасшедшего дома, а потом свалила вину за донос на другую женщину.

Дзержинский просидел еще полтора года, пока его опять не сослали в Сибирь. Он перестал вести дневник, но писал в том же духе к сестре Альдоне. Из Сибири он снова сбежал. Совершив своего рода хадж революционера – паломничество к Максиму Горькому на остров Капри, – он пробрался оттуда назад в Краков.

В 1910 г. Дзержинский женился на одной своей поклоннице, 28-летней Зофии Мушкат, дочери революционно настроенного рабочего. Зофия была от природы слугой идеи, ради партии она с готовностью бралась за опасную работу. Ее не пугали ни разлука, ни ссылка. Дзержинский взял ее с собой в поход в Татры. Когда они вернулись в Варшаву, в комнате с двумя железными кроватями и одним столом Дзержинский зачал сына. Маленького Яцека он годами не видел, так как Зофию арестовали в Варшаве, и она преждевременно родила в тюрьме. (Яцек, страдая припадками и авитаминозом, каким-то чудом выжил.) Потом Зофию тоже сослали в Сибирь, и она отдала сына в чужую семью на воспитание. Когда она в 1912 г. сбежала из Сибири и забрала сына к себе, Феликса уже снова арестовали.

На этот раз Дзержинского держали в городских тюрьмах, сначала варшавской, затем орловской (предназначенной для опасных революционеров) (9), и, наконец, в московских Бутырках. Этот тюремный опыт был куда суровее, чем сибирская ссылка Сталина в Туруханске. Дзержинского заковали в кандалы, и у него разрывались мышцы; смену белья он получал всего раз в две недели; в камере, рассчитанной на пятнадцать человек, сидело сто; свирепствовал туберкулез. Условия были ничуть не лучше, чем те, что Дзержинский устроит через пять лет для своих узников. Друзей у него не было, и, кроме газет, читать было нечего. В Орле Дзержинский, кажется, впал в отчаяние, но его перевели в отдельную камеру и разрешили получать посылки и деньги от братьев и сестер. Как и Сталина, Дзержинского освободили в дни Февральской революции, которая отменила все политические приговоры.

Письма, которые Дзержинский отправлял Альдоне в начальный период Первой мировой войны, показывают, до какой степени он жил фанатичной верой в будущее. «Когда я думаю о том аде, в котором вы все живете, мой собственный маленький ад кажется таким мелким...» Как и Ленин, Дзержинский приветствовал этот ад; в 1915 г. он писал жене из тюрьмы: «Когда я размышляю о том, что сейчас происходит, о всеобщем крушении всех надежд, я делаюсь уверен в том, что жизнь расцветет тем быстрее и сильнее, чем больше сегодня будет разрушено». Письма от жены и сестер спасали Дзержинского от сумасшествия. Зофия писала невидимые строки лимонной кислотой и многое зашифровывала, используя одно стихотворение Антония Ланге, которое оба любили, – «Вечно одиноки души людские» («Dusze ludzkie samotnicze wieczne»). Дзержинский писал стихи для сына:

Фелек смотрит на сына,
три фотоснимка на стене,
прилепленных тюремным хлебом.
Смотрю на первый, я слышу смех...
Смотрю на второй, там, сосредоточенный,
Яцек мир изучает,
как будто слезы застыли в его глазах.
И детскими глазами на отца
смотрит одинокая боль матери, тоскует сердце узника...
Отец Яцека мечется в своих снах,
и замирает его грудь,
и сердце ищет сердца сына,
и старается услышать, донесется ли издалика
его полный страдания голос...

Сталина четыре года в Сибири закалили физически и духовно; Дзержинского же пять лет в тюрьмах ослабили физически и ограничили его ум. Единственное, чему он научился, когда его перевели в Бутырки, где он работал в мастерских, поставляющих одежду в армию, – это кроить и шить штаны и кители. Тем не менее он остался вождем заключенных, устраивал голодовки, протесты и суды чести; отточил свой фанатизм, который вскоре поможет ему сделать из ЧК независимую силу, способную держать под контролем все население страны. В конце концов, однако, Дзержинский так и не утратил сходства со сторожевым псом в поисках хозяина: он нуждался в указаниях, и Сталин окажется для него самым понятным и приемлемым руководителем.

Чрезвычайная комиссия

Первоначально обязанности ЧК сводились к защите главного штаба революции в Петрограде. Но 20 декабря 1917 г. Дзержинский уговорил Ленина расширить компетенцию ЧК, включив в нее борьбу с контрреволюцией и с саботажем. Не все товарищи одобрили идею Дзержинского: Леонид Красин, бывший директор фабрики, который стал самым искусным из ленинских дипломатов и самым беспощадным из реквизиторов, писал:

«Ленин стал совсем невменяем, и если кто и влияет на Ленина, так это “товарищ Феликс” Дзержинский, еще больший фанатик и, в сущности, хитрая бестия, запугивающая Ленина контрреволюцией и тем, что она сметет нас всех и его – в первую очередь.

А Ленин, в этом я окончательно убедился, самый настоящий трус, дрожащий за свою шкуру. И Дзержинский играет на этой струнке (10)».

Ленин не без основания дрожал за свою шкуру. Матросы, которые еще не простили своим офицерам расправы 1905 г.; солдаты, которых посылали умирать на фронт без сапог и без оружия, пока офицеры пили в тылу; фабричные рабочие, у которых зарплаты не хватало на хлеб или водку, – городское население было готово грабить, бить, убивать любого эксплуататора или власть имущего. Временное правительство Керенского освободило тысячи арестантов, бандитов и психопатов, которые составляли главный взрывоопасный элемент в распадавшемся обществе. Новая власть распустила царскую армию, предоставив самим себе тысячи людей, обученных убивать, а среди них были и бывшие каторжники, призванные из Сибири на фронт. Некоторые из таких каторжников начали убивать по приказам новой большевистской власти. Именно на этой волне насилия, захлестнувшей сначала Петроград (где двух деятелей свергнутого Временного правительства матросы убили на больничных койках), а потом Москву, большевики пришли к власти. Злобу и мстительность населения большевики направили в русло карательной системы для разоблачения, задержания и обезвреживания классового врага: эту карательную систему называли ЧК.

Самым дешевым и верным способом проведения такой кампании оказался расстрел. Когда правительство Керенского предложило восстановить смертную казнь для дезертиров, большевики громко протестовали, но в феврале 1918 г., пробыв у власти всего три месяца, они письменно дали ЧК право расстреливать своих жертв без санкции свыше, без обвинения, без суда. Власть над жизнью или смертью любого гражданина воодушевила ЧК: она стала развиваться как грибовое заболевание. К июню 1918 г. каждая область, каждый район, где правил Совет рабочих и солдат, организовали свою собственную чрезвычайную комиссию. Их компетенция была неопределенной и почти неограниченной: контрразведка, контроль над буржуазией, насильственное осуществление советских указов; их характер зависел от местных личностей и настроений. Только через годы, когда войска белых отступили от Центральной России, эти часто варварские и непредсказуемые (иногда более умеренные, если находились под контролем эсеров или умеренных марксистов-небольшевиков) органы подчинились московской власти Дзержинского.

Те большевики-дипломаты, кто, подобно Адольфу Иоффе, пытался представлять за границей советское правительство как цивилизованное государство, были смущены самоуправством и насилием ЧК. 13 апреля 1918 г. Иоффе призвал Петроградское бюро отменить ЧК, ссылаясь на то, что «комиссии Урицкого и Дзержинского более вредны, чем полезны, и в своей деятельности применяют совершенно недопустимые, явно провокационные приемы...» (11). Даже пробольшевистские юристы были в ужасе: 12 июля В. А. Жданов, кото-

рый в 1903 г. защищал убийцу великого князя Сергея Александровича, написал протест профессору Владимиру Бонч-Бруевичу, близкому знакомому Ленина:

«Отсутствие контроля, право решения дел, отсутствие защиты, гласности и права обжалования, допущение провокаций неизбежно приводят и будут приводить комиссию к тому, что в ней соведут гнездо люди, которые под покровом тайны и безумной бесконтрольной власти будут обделывать свои личные или партийные дела. И практика комиссии подтверждает все это. Я утверждаю, что деятельность ЧК необходимо будет являться сильнейшим дискредитованием советской власти» (12).

Незадолго до своей смерти два патриарха русской литературы и мысли, Владимир Короленко и князь-анархист Петр Кропоткин, красноречиво протестовали против смертной казни. Всё попусту: за Дзержинским осталась власть над жизнью и смертью.

По мере того как ЧК становилась централизованным учреждением, она раздроблялась, превращаясь в сложный организм, который распространился по всей стране. ЧК заведовала контрразведкой и контролировала вооруженные силы; осуществляла надзор за железными дорогами и перлюстрировала письма и телеграммы; разоружала политических противников, включая членов других левых партий; боролась с саботажем и диверсиями; руководила иностранной разведкой. Из горстки петроградских партийных работников, солдат и матросов ЧК разрослась за два года и стала армией из 20 000 вооруженных мужчин и женщин очень разнородного происхождения, объединенных лишь убежденностью в собственной правоте и чувством безнаказанности. Их вдохновляла скорее паника, чем энтузиазм. В Петрограде, под истеричным управлением Григория Зиновьева, чекистские начальники сменялись почти каждый месяц, каждый новый шеф доказывал, что он еще более беспощаден, чем предыдущий. Чекисты переутомлялись: средний следователь вел не меньше ста дел.

Обмундировать и вооружить ЧК было нетрудно. От Первой мировой войны осталось и для ЧК, и для армии Троцкого достаточно ружей, пулеметов и боеприпасов, чтобы три года вести и Гражданскую войну, и красный террор. Из Западной Европы царская армия получила огромную партию кожаных курток для летчиков, и эта партия досталась Дзержинскому, который таким образом одевал своих чекистов гигиенично (тифозная вошь, уносившая столько жизней, предпочитала шерстяную шинель красноармейцев). Труднее было вербовать людей, которые не были бы своенравными психопатами. Дзержинский зря искал людей «с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками»; Ленин был прав, замечая, что на каждого порядочного приходится девять мерзавцев.

Вначале ЧК вербовала не только большевиков, но и левых эсеров, и даже анархистов. Петр Александрович, вождь эсеров в ЧК, сильно надоедал Дзержинскому тем, что настаивал на ответственности ЧК перед местными Советами, в которых его партия все еще сохраняла влияние. Летом 1918 г. большевики спровоцировали эсеровское выступление и, воспользовавшись этим поводом, раздавили их. Только тогда ЧК стала бесспорным агентом партии Ленина. В марте 1919 г. с ЧК была снята последняя ответственность: Дзержинского назначили наркомом внутренних дел, и, так как он уже являлся председателем ЧК, то был подотчетен самому себе.

Дзержинский все-таки еще не входил в политбюро, это внутреннее средоточие власти, где семеро большевиков – Ленин, Каменев, Зиновьев, Троцкий, Сталин, Рыков и Томский – с тремя безгласными кандидатами (Бухариным, Молотовым, Калинин) принимали все важные решения. Для Ленина Дзержинский был простым организатором-исполнителем (13). Дзержинский сам признавался Троцкому, что не был «государственным человеком». Но голосование за ЦК показывает, до какой степени рядовые партийные члены уважали и любили Дзержинского: в марте 1919 г. Ленин получил 262 голоса (больше, чем кто-либо из

баллотировавшихся), а Дзержинский – 241, меньше, чем Бухарин и Сталин (по 258 голосов), но больше, чем Троцкий (219) и Калинин (158). Только в 1924 г. Дзержинского сделали кандидатом в члены политбюро.

Потому-то Дзержинскому надо было установить тесные отношения с членом политбюро, чтобы иметь влияние на политику партии в отношении к ЧК. Он постепенно сближался со Сталиным.

Поляки, латыши и евреи

Наравне с неограниченной властью ЧК, вражду к ней со стороны многих людей вызывал ее этнический состав. Эмигранты не без основания утверждали, что революцию делали «еврейские мозги, латышские штыки и русская глупость». Вплоть до середины 1930-х гг. в ЧК и ОПТУ русские составляли меньшинство. Только немногие из наводивших ужас подопечных Дзержинского были русскими – например, Иван Ксенофонтов, бывший фабричный рабочий и армейский прапорщик, был председателем революционных трибуналов и устраивал массовые расстрелы заложников. Такой же пуританин, как Дзержинский, Ксенофонтов заставлял чекистов соблюдать сухой закон и сам доработался до полного истощения. В 1922 г. ему еще не было сорока, но прозвище «дедушка» за ним уже закрепилось. В 1926 г. он умер от рака желудка. Еще более страшным чекистом оказался недоучившийся медик и пианист-виртуоз Михаил Кедров, который в Северной России убивал офицеров, школьников и школьниц с такой яростью, что его упекли в психиатрическую больницу. Жена Кедрова, Ревекка Майзель, лично расстреляла сотню белых офицеров и буржуа, а затем утопила еще пятьсот заложников на барже.

Кавказцы в ЧК составляли маленькую, но грозную группу. Короткое время в управлении ЧК служил союзник Сталина грузин Серго Орджоникидзе. Другой грузин, Алексей Саджая, именовавший себя «Доктор Калининченко», пытал заключенных в Одессе. Георгий Атарбеков, которого Сталин знал лично, расстрелял из пулемета всех пассажиров захваченного поезда; в Пятигорске он саблей зарубил сотню заложников; у себя в кабинете убил собственную секретаршу, а в Армавире несколько тысяч армян. Дзержинский яростно защищал действия Атарбекова (14).

Сам Дзержинский предпочитал привлекать земляков в свой близкий круг. Главным его сотрудником был Юзеф (Иосиф) Уншлихт, с которым он сошелся еще в начале 1900-х гг. в варшавском подполье. Уншлихт стал командиром огромной чекистской армии, «спецназов»; Троцкий тщетно сопротивлялся такому расколу красных вооруженных сил. Вплоть до 1925 г. эти спецназы расправлялись с непокорными гражданскими лицами, крестьянами, казаками. Дзержинский и Уншлихт рассчитывали на торжество революции по всей Восточной Европе и в Германии; пока независимая Польша под руководством Юзефа Пилсудского в августе 1920 г. не разгромила Красную армию, они намеревались объединить ее с Союзом Советских Социалистических Республик Европы и Азии. Крестовый поход во имя мирового пролетариата помог им забыть о своей антипатии к России. Но та Польша, которая провозгласила независимость в 1918 г., была националистически настроена, и у власти там были имущие слои. Польские социалисты и те польские евреи, которые требовали политического равенства, не находили себе места в новом государстве Пилсудского. Для них единственной возможностью получить власть казалась просоветская революция и вторжение Красной армии. Вот почему в ЧК поляки играли такую видную роль.

Латыши оказались еще более действенным элементом в составе ЧК, и на высшем и на низшем уровне. В июле 1918 г., когда эсеры убили немецкого посла Мирбаха и взяли Дзержинского в заложники, латыш Иоаким Вацетис спас правительство Ленина.

Хорошо обученные латышские стрелки обстреляли здание, где находилась эсеровская дивизия московской ЧК, и политически, если не физически, уничтожили эсеров.

Латыши, которые работали в ЧК, не были простыми наемниками. Когда в 1919 г. Латвия добилась независимости, ее новое буржуазное правительство не терпело левых агитаторов, которые будоражили рижские фабрики и заводы. Воинственные латышские рабочие – возможно, до четверти миллиона – предпочитали эмигрировать в Советскую Россию. Они играли от Петрограда до Владивостока видную роль в советской жизни, имели собственные

журналы и культурные центры. Около двенадцати тысяч латышских солдат из Восточной Латвии (Латгалии), где русское влияние и русский язык были сильнее, сражались за Россию во время Первой мировой войны. В 1917 г. белые офицеры бросили их на произвол судьбы, а немцы отрезали от родины. Разъяренные предательством офицеров, эти латыши тяготели к Красной армии и к ЧК. Неудивительно поэтому, что три четверти центральных кадров ЧК составляли латыши. Когда русские солдаты отказывались от расстрелов, латыши (со вспомогательным отрядом из пятисот китайцев) охотно заменяли их. Латыши успешно боролись против белых на Урале, и командиром Красной армии целый год был Вацетис. От формирования в апреле 1918 г. до разгона в ноябре 1920 г. латышские стрелки играли ключевую роль в торжестве революции.

Дзержинскому помогали два грозных латыша, Екабс (Яков) Петерс и Мартиньш (Мартын) Лацис. В Риге Петерс начал свою карьеру агитатором на верфях; в 1905 г. царские жандармы допросили его и вырвали ему ногти. Он эмигрировал в Лондон с группой латышских и русских социал-демократов, чтобы грабежом добыть денег. В 1911 г. он прославился на весь мир во время осады Сидней-стрит, когда убили трех полицейских. Петерс работал с анархистами – двое из них были его кузены, Петер Пяктов «Маляр» и Фриц Сваарс. Сбежав, Пяктов послал властям полуграмотное письмо с угрозами в адрес Черчилля, тогда британского министра внутренних дел: «Береги свою машину, когда едешь на участок... Мы намерены УБИВАТЬ... Я здесь в Манчестере. Мы скоро расправимся с этой кровавой свиньей, с Черчиллем. Его дни сочтены. Твой Петерс». Петерса поймали, но суд присяжных в Олд-Бейли оправдал его; он нанял очень ловкого адвоката, и Скотленд-Ярд, несмотря на показания свидетелей, нашел более удобным свалить вину за убийства на одного мертвого анархиста.

Петерс, как только его освободили, женился на англичанке, Мэй Фриман, которая родила от него дочь Мэйзи. В 1917 г. он приехал в Россию и сразу начал работу в ЧК. В Москве он ловко раскрыл британского агента Роберта Брюса Локкарта, который прощупывал большевиков относительно возможного союза с Британией против Германии. Когда убили немецкого посла и Дзержинский в припадке истерики ушел в отставку на два месяца, Петерс стал главой ЧК. Он настаивал на том, что ЧК не подотчетна никому, кроме Ленина, и что она должна иметь неограниченную свободу в выполнении «обысков, арестов и расстрелов». В Москве Петерс командовал облавой, в которой погибло более ста анархистов, и в Петрограде, пользуясь альманахом «Весь Петроград» за 1916 г., он произвел массовые аресты купцов, чиновников, офицеров, интеллигентов, которые стали заложниками, подлежащими расстрелу.

Зверские наклонности Петерса сочли достаточными, чтобы повысить его статус: в первой половине 1920-х гг. он занимался подавлением восстаний туркестанских басмачей. Тем удивительнее, что Брюс Локкарт свидетельствовал: «В характере Петерса не было ничего похожего на то бесчеловечное чудовище, каким его представляют. Он мне рассказывал, что испытывает физическую боль всякий раз, как подписывает смертный приговор» (15). По-видимому, физическая боль очень скоро стихала – Петерс часто предпринимал массовые акции. Типичной операцией была облава 12–13 июня 1919 г. в Петрограде, предпринятая вместе с партийными рабочими под руководством Сталина, – 15 тыс. вооруженных солдат задержали сотни подозреваемых или просто родственников дезертиров и расстреляли их.

В частной жизни Петерс был не менее бессердечным. Отпуская Брюса Локкарта, он просил его передать письмо жене в Лондон; в марте 1921 г. Мэй и Мэйзи приехали в Москву и узнали, что у Петерса уже есть вторая жена, русская, и сын от нее. Петерс не разрешил своей первой семье вернуться в Англию (16). Зимой 1919 г. журналист Михаил Кольцов работал в относительной безопасности в Киеве; там он описывал свои московские впечатления: «Петерс поежился на весеннюю слякоть и стал натягивать на большие руки пер-

чатки. Старые, истертые лайковые перчатки. Пальцы были на концах продраны и неумело, одиноко, стариковски подшиты толстыми нитками. Так зашивают свои вещи неприятные хмурые холостяки, живущие в прокисших, низких... мебелишках. В эту минуту мне стало жалко Петерса» (17).

Лацис был человек куда более красноречивый, чем Петерс. До и после революции он писал сатирические и гражданские стихи и комические пьесы на латышском. Сочинил пародию на «Отче наш», обращенную к Николаю II: «Отче наш, иже еси в Петербурге, проклято будь твое имя, уничтожена будь твоя власть...» В 1912 г. он стал известен своей поэмой «Болит сердце...», посвященной своей родине Латвии. Он начал государственную работу следователем в НКВД, который на первых порах был еще подобием нормального учреждения. В мае 1918 г. он с таким блеском разоблачил (или сфабриковал) заговор монархистов, что его перевели в ЧК. В 1919 г. с таким же театральным азартом он вместе со своим племянником чекистом Парапуцем отличился в Киеве, не просто заманивая своих жертв в ловушку, но и вымогая у них деньги и драгоценности. Лацис с Парапуцем открыли в Киеве «бразильское консульство» (Лацис сам и был «консулом»). Они продавали визы за огромные суммы, после чего арестовывали клиентов от имени ЧК. Когда белые захватили Киев, они нашли около 5 тыс. трупов, а еще 7 тыс. арестованных исчезли бесследно.

Лацис занимался популяризацией ЧК, защищая ее от критики со стороны Народного комиссариата юстиции; он основал журнал «Красный меч», который регулярно печатал статистику (сильно заниженную) казней, включавшую такие показатели, как пол, социальное происхождение жертв, динамику казней в зависимости от времени года. Он заявил:

«Чрезвычайная комиссия – это не следственная комиссия, не суд и не трибунал. Это орган боевой, действующий по внутреннему фронту гражданской войны. Он врага не судит, а разит. Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, – к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого... [ЧК] не милует, а испепеляет всякого, кто по ту сторону баррикад» (18).

Лацис утверждал, что между 1918 и 1920 гг. было казнено всего 21 тыс. человек. Подробности волновали его больше, чем численность, – после восстания эсеров в Ярославле в июле 1918 г. он расстрелял 57 бунтовщиков на месте, а потом еще 350, которые сдались после того, как город подвергся авиабомбежке и обстрелу с бронепоезда.

Как и Дзержинский, Лацис впоследствии получил должность в руководстве экономикой и всегда настаивал, что ЧК должна расширить свои полномочия. В посмертном панегирике Дзержинскому Лацис писал: «Тот, кто хоть нерасторопностью мешает развитию производительных сил страны... подлежит искоренению, и дело ЧК – взять это дело в свои руки...» (19) Со временем даже Лацис начал терять энергию; он стал членом латышского отделения Союза писателей и ставил свои пьесы в Латышском театре в Ленинграде. Затем стал командиром железнодорожной милиции. 20 марта 1938 г. он был расстрелян.

Видная роль, сыгранная евреями в убийственном терроре 1918–1921 гг., представляет собой очень щепетильный вопрос, хотя бы потому, что приходится обсуждать его вместе с шовинистами и ярыми антисемитами (20). От Троцкого до одесских заплочных дел мастеров российские евреи беспощадно мстили за погромы последних трех десятилетий, и поэтому не только черносотенцы, но и монархисты, даже либералы, во всех других отношениях объективные и справедливые, распространяли мнение, что большевики и их Цен-

тральный комитет – не что иное, как еврейский «кагал». Но взрыв насилия, в котором евреи убивали неевреев в России, нельзя охарактеризовать лишь как возмездие за двести лет царского гнета. Можно, конечно, сравнить еврейскую группу в ЧК с действиями организации Авраама Штерна и Иргуна в Израиле против арабского населения и британских властей, которые представляли собой порыв к самоутверждению после куда более суровых притеснений. Но те евреи, которые работали на ЧК, не были сионистами; они даже не были в полном смысле слова евреями. Война между ЧК и русской буржуазией не была ни классовой, ни чисто политической. Ее можно определить как конфликт еврейских интернационалистов с русской национальной культурой.

Когда чиновники царской России или нацистской Германии говорили о евреях, то семейное происхождение и фамилия значили столько же, сколько вероисповедание и культурная лояльность, и только при таком понимании имеет смысл описывать конфликт евреев и русских как культурную коллизию. Что, кроме происхождения, осталось от еврейства у таких большевиков, как Зиновьев, Троцкий или Свердлов? Некоторые уже во втором или третьем поколении были отступниками от иудаизма; большинство не знали ни идиша, ни иврита. Воспитание у них было русское, образ жизни и ценности – европейские. Они были евреями не больше, чем, например, Карл Маркс. В царской России путей выхода из еврейской черты оседлости было мало – эмиграция, образование или революция; последние два приводили к утрате еврейства и присоединению к группам и институтам, зачастую настроенным антиеврейски.

Большевики пользовались поддержкой среди еврейского населения Белоруссии и Украины, во-первых, потому что в первые годы советская власть смотрела на сионизм с терпимостью (21). Во-вторых, еврейский Бунд, который поддерживали даже те евреи, которые не были ни интеллигентами, ни сионистами, представлял собой социалистическую партию, готовую сотрудничать с широким кругом социалистов, включая большевиков. В-третьих, пятимиллионное еврейское население подвергалось страшным погромам и абсурдным обвинениям и было лишено гражданских прав и доступа в крупные города и к престижным профессиям. Фронт Первой мировой войны проходил через области, густонаселенные евреями. Больше полумиллиона евреев было без компенсации выслано на восток. С 1918 по 1920 г. евреи страдали от погромов, устроенных белыми казаками, украинскими националистами и польскими завоевателями; белые генералы, например Деникин, не всегда обуздывали антисемитизм младших офицеров. А среди красноармейцев только казаки Семена Буденного систематически творили насилие над евреями.

Что касалось ЧК и партии, Ленин боялся, что еврейские мозги могли оказаться столь же полезными, сколь и опасными, да и сами евреи очень хорошо сознавали, что у русского населения они могли вызывать резко отрицательную реакцию. Ленин позаботился о том, чтобы Троцкий не был включен в комиссию, созданную для разработки мер против православной церкви. Зиновьев, съездив на Украину, выразил опасение, что среди коммунистов «слишком много евреев». В середине 1920-х гг. Лазарь Каганович, первый секретарь ЦК компартии Украины и сам еврей, за три года понизил долю евреев в Харьковском университете с 40 до 11 % и повысил долю украинцев с 12 до 38 %. Любая инициатива, выдвинутая Троцким или Ягодой или приписываемая им, могла подлить масла в огонь русского антисемитизма. Даже когда доля евреев среди страдающих от голода и холода обывателей Петрограда и Москвы падала, число их в карательных органах и в партии возрастало. В 1922 г. оно достигло в партии максимального показателя (хотя нельзя сказать, что евреи составляли тесную группу единомышленников) – 15 %. Уступали они только этническим русским (65 %).

Чекист как интеллигент и организатор

Когда кончилась Первая мировая война, старые, но уцелевшие империи Великобритании и Франции, не говоря о новых буржуазных независимых государствах Прибалтики и Центральной Европы, обратили внимание на угрозу, которую представляла собой Советская Россия. ЧК пришлось перебросить часть своих сил на борьбу с внешним врагом: шпионаж и контрразведка стали гораздо важнее. Теперь ЧК нуждалась не только в стрелках, но и в образованных людях со знанием языков. Чтобы раскрывать шпионов и вести пропаганду, нужны были люди, искусные в дезинформации, в манипулировании и в фальсификации. Недостаточно уметь убивать, надо еще и иметь высшее образование. Очень часто евреи оказывались самыми квалифицированными чекистами, так как среди выходцев из Прибалтики и Польши, рекрутированных в ЧК, было мало интеллектуалов, хотя и встречались такие исключения, как барон Ромуальд Людвиг Пиллар фон Пильхау, остзейский аристократ, или утонченный петроградский юрист Константин Рончевский.

У ЧК были еще другие задания. Кроме подавления контрреволюции или разведывательной работы, она должна была поставить на ноги разрушенную русскую экономику. С самого начала Ленин и Троцкий тайно рассчитывали на репрессивную организацию труда, с трудовыми армиями и крестьянскими кооперативами на государственных землях. Летом 1918 г. Троцкий заложил фундамент ГУЛАГа, организовав концлагеря в Поволжье. Он продолжал слепо верить, что «непродуктивность обязательного труда – это либеральный миф», но только через десять лет ЧК смогла построить лагеря, которые приносили какую-то прибыль государственной экономике.

Экономическая деятельность ЧК кое в чем предвосхищала Гитлера. ЧК собирала деньги для государства, не только конфискуя собственность банков и предприятий, – она еще и мародерствовала. Драгоценности расстрелянной императрицы Александры Федоровны, которые убийцы доставили в Москву в десяти чемоданах, были проданы за сотню миллионов долларов. Все приговоренные к расстрелу – настоящие или воображаемые контрреволюционеры – лишались своей собственности в пользу ЧК. К концу 1919 г., когда отделения ЧК распространились по всем областям, районам и городам, по всем учреждениям – по железным дорогам, фабрикам, военным подразделениям, расстрелы производились по-другому. Вместо расстрела на открытом месте жертв заставляли раздеться догола где-нибудь в подвале; после пули в затылок их одежда тщательно сортировалась. Сам Ленин получил костюм, сапоги, пояс и подтяжки от палачей ЧК (22). Нижнее белье поступало в Красную армию или раздавалось другим заключенным. Из ртов трупов выдергивали золотые зубы. (Михаил Фриновский, чекист, ставший печально знаменитым в годы Большого террора, потерял зубы от удара ногой одного узника ЧК, и протезы для него были изготовлены из золотых зубов расстрелянных.)

К концу Гражданской войны советские войска отчаянно нуждались в материальных ресурсах – без трофеев они не могли воевать. Ягода получил такой доклад от отряда, подавляющего крестьянское восстание в Симбирске: «Из-за отсутствия в Красной армии полностью главным образом обуви заговоров и контрреволюционных явлений не замечено» (23). После любой победы красноармейские отряды подробно вносили в список каждый трофей: в 1920 г. командир Н. Епанешников с гордостью докладывал штабу, что посылает «64 ружей шомпольных, 17 охотничьих ружей... 86 винтовок разного образца, один топор, 16 выработанных телячьих, овечьих и козлиных шкур, 11 шинелей старых, один шинель распоротый... 2 вязаных кальсон... 10 кальсон нательных, 2 мешка с газетами, 45 сырых лошадиных кож, колокол, самогонную трубу...» (24).

Владимир Зазубрин, который в 1918 г. перешел от белых к красным и скоро показал себя довольно талантливым автором и рассказов, и воспоминаний (в 1938 г. Сталин его расстрелял за откровенность), долго помнил тяжелую жизнь чекистов-палачей:

«Белые, серые туши рухнули на пол. Чекисты с дымящимися револьверами отбежали назад и сейчас же щелкнули курками.

У расстрелянных в судорогах дергались ноги... Двое в серых шинелях ловко надевали трупам на шеи петли, отволакивали их в темный загиб подвала. Двое таких же лопатами копали землю, забрасывали дымящиеся ручейки крови. Соломин, заткнув за пояс револьвер, сортировал белье расстрелянных. Старательно складывал кальсоны с кальсонами, рубашки с рубашками, а верхнее платье отдельно... Трое стреляли, как автоматы, и глаза у них были пустые, с мертвым стеклянистым блеском» (25).

Подобно Лацису и Зазубрину, многие чекисты полагали, что обладают литературным талантом, точно так, как потом некоторые писатели пробовали свои силы в качестве следователей. В 1921 г., когда Красная армия и ЧК завоевали Тифлис, чекисты опубликовали антологию стихов, «Улыбка чекиста». Особенно поражают стихи латыша Александра Эйдука, палача и военного эмиссара:

Нет большей радости, нет лучших музык,
Как хруст ломаемых жизней и костей.
Вот отчего, когда томятся наши взоры
И начинает бурно страсть в груди вскипать,
Черкнуть мне хочется на вашем приговоре
Одно бестрепетное: «К стенке! Расстрелять!»

Служа в Москве, Эйдук признался одному знакомому дипломату «с наслаждением в голосе, как иступленный половой маньяк», что рев моторов грузовиков, которыми глушили выстрелы, когда расстреливали заключенных, его возбуждал и что это «кровь очищает». Эйдук (которого Сталин включит в расстрельные списки 1938 г.) был в 1922 г. откомандирован правительством, чтобы надзирать за американским Агентством помощи голодающим (ARA), когда оно кормило десять миллионов голодающих крестьян в Поволжье.

Еще возмутительнее графоманских строк Эйдука – похвалы чекистам от настоящих поэтов, например Маяковского, который марал свою репутацию такими стихами:

Не буду петь волну и чайку,
Я буду петь вам Чрезвычайку...

Юноше, обдумывающему житье,
Решающему, сделать бы жизнь с кого,
Скажу, не задумываясь:
«Делай ее с товарища Дзержинского!»

Как удавов и кроликов, чекистов и поэтов влекло друг к другу, часто со смертельными последствиями для последних. Они находили, что у них есть много общего: они жаждали славы, они представляли себе, что они борцы за правду, авангардисты; творчески неполноценные, они все-таки были убеждены в своем превосходстве над буржуем, над обыкновенными смертными, не способными понять их подвиги. Есть небольшой разрыв между

поэтом-символистом, который хотел шокировать буржуа, и чекистом, который хотел поставить буржуа к стенке.

Образцовым чекистом-интеллектуалом оказался двадцатилетний эсер Яков Блюмкин. Едва окончив школу, он поступил в одесскую ЧК, где прославился как «Бесстрашный Наум»; он потряс весь мир, когда вошел в германское посольство в Москве с мандатом, будто бы подписанным Дзержинским, и убил посла графа Вильгельма фон Мирбаха – якобы для того, чтобы отомстить за унижительный Брест-Литовский мир и вызвать разрыв с Германией и мировую революцию. Блюмкина наказали только условно (предполагается, что за кулисами эсеровского мятежа стояли на самом деле большевики). В 1919 г. Блюмкин-чекист уже навоевал ужас в Киеве.

Блюмкин был очень талантлив: говорил на многих европейских и азиатских языках; писал стихи и, несмотря на садистские шутки, ошеломлял поклонников подвигами. Он был наиполнейшим олицетворением блестящего интеллектуала, развращенного разрешением убивать безнаказанно. В июне 1918 г., незадолго до покушения на германского посла, Блюмкин хвастался перед

Осипом Мандельштамом, что собирается расстрелять какого-то «бесхарактерного интеллигента». Мандельштам возмутился и, как человек, всегда безразлично относившийся к собственной безопасности, через Ларису Рейснер добился, чтобы его принял Дзержинский. Глава ЧК проявил понимание, и, может быть, этот интеллигент был спасен. Блюмкин дружил с Сергеем Есениным и взял его с собой в Иран (где ненадолго появилась советская республика Гилестан); поездка вдохновила Есенина на «персидские» стихи. Даже принципиальный монархист Николай Гумилев гордился тем, что Блюмкин признал его. В стихотворении «Мои читатели» он писал:

Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.

Такие связи между поэтом и чекистом были быстротечными и взаимно губительными. Кадры Дзержинского, как и боги русского Парнаса, редко сами доживали свой век. Есенин в 1926 г. покончил с собой, а Блюмкина расстрелял Менжинский за связи с Троцким. Через четыре года застрелился Маяковский, а его друга чекиста Агранова расстрелял Ежов.

Поэт мог испытывать ужас перед властью, как Мандельштам, для которого власть была «отвратительна, как руки брадобрея», или восхищаться ею, как Маяковский: все равно пути чекиста и поэта пересекались. В 1919 г. Александра Блока задержала ЧК и допросила как эсера и сочувствующего «мистическому анархизму». Блок поддерживал какое-то время контакты с ЧК – он хлопотал, иногда успешно, за других арестованных. Его следователь Озолин, который руководил массовым убийством в Саратове, объявил себя тоже поэтом.

Максимилиан Волошин, своей славой поэта и мага внушавший и красным и белым какой-то священный ужас и поэтому выживший в Крыму, несмотря на зверства, совершенные и белыми и красными, красноречиво описал в 1921 г. то, что творили свергнутый сумасшедший венгерский коммунист Бела Кун и его любовница Розалия Землячка:

Террор
Собирались на работу ночью. Читали
Донесенья, справки, дела.
Торопливо подписывали приговоры.
Зевали. Пили вино.

С утра раздавали солдатам водку.
Вечером при свече
Вызывали по спискам мужчин, женщин.
Сгоняли на темный двор.

Снимали с них обувь, белье, платье.
Связывали в тюки.
Грузили на подводу. Увозили.
Делили кольца, часы.

Ночью гнали разутых, голых
По оледенелым камням,
Под северо-восточным ветром
За город в пустыри.

Загоняли прикладами на край обрыва.
Освещали ручным фонарем.
Полминуты работали пулеметы.
Доканчивали штыком.

Еще недобитых валили в яму.
Торопливо засыпали землей.
А потом с широкою русскою песней
Возвращались в город домой.

Бела Кун сам вызвал Волошина прочитать список осужденных, великодушно вычеркнул фамилию поэта и затем пригласил его принять участие в составлении окончательного списка – выбрать для помилования одного человека из каждого десятка (26).

Когда начались массовые убийства, интеллектуалам стало труднее общаться с чекистами. Уже 1 сентября 1918 г. ЧК начала «красный террор» как меру защиты, отменяющую и закон, и нравственность. Предлогом к красному террору было убийство от руки молодого поэта Леонида Канегиссера главы петроградской ЧК Моисея Урицкого (по злой иронии, из всех чекистов он один не выносил кровопролития). Ленину, кажется, не хотелось разрешать Дзержинскому начинать террор против контрреволюции, но он был отстранен от дел: его самого поразила пуля, якобы выпущенная в него из револьвера бывшей анархисткой, Фани Каплан. Маловероятно, что Каплан покушалась на Ленина; она не могла знать – даже в окружении Ленина не знали, – что Ленин появится на митинге на одной московской фабрике. К тому же Каплан к тому времени уже десять лет как наполовину утратила зрение (последствие взрыва в мастерской, где террористы мастерили бомбы). Будто бы через четыре дня нашли револьвер Каплан, но пуля, поразившая Ленина в шею, была из совершенно другого пистолета. В отличие от Канегиссера, который сразу был арестован и быстро признался, но находился под следствием целый год (надеялись, что он назовет всех заговорщиков), Каплан молчала, даже когда ее допрашивал Петерс, и сразу была передана в Кремль для дальнейших допросов. Через неделю ее расстрелял кремлевский комендант Павел Мальков. Близкий друг Сталина, поэт Демьян Бедный, помог Малькову сжечь ее тело в железной бочке из-под мазута (27).

Убийственная работа ЧК набирала силу. Попытки убрать вождей, не говоря уж о наступлении белой армии и англо-французских интервентов с севера, с юга и с востока,

послужили предлогом к трехлетней кровавой оргии. Нравственное воздействие распоряжений Дзержинского было ужасающе: взрыв преступного садизма обуял всю страну. За несколько дней в Москве расстреляли сотни. Наследник Урицкого в Петрограде, Глеб Бокий, расстрелял 1300 человек, хотя Дзержинский «отпустил» ему лимит в 500 (28). Троцкий и Карл Радек громко приветствовали террор. Радек даже просил, чтобы казнили публично, и Ленин летом 1918 г. предлагал не расстреливать, а вешать, чтобы публика могла дольше смотреть на трупы (29).

Паника и мстительность Гражданской войны неизбежно влекли за собой ужасные зверства, особенно в таких городах, как Киев и Астрахань, которые несколько раз переходили от белых к красным и обратно. Каторжники и освидетельствованные психопаты, объявив себя офицерами ЧК, насиловали и убивали кого угодно. Белым офицерам давали пропуска с гарантией личной безопасности, потом их вызывали на регистрацию и расстреливали, или сжигали заживо в горнах, или топили на баржах, или забивали саблями. Красные старались поддерживать боевой дух, расстреливая каждого десятого отступающего и всех дезертиров: такую политику и Троцкий, и Сталин вводили на всех фронтах, где побывали. Статистика ненадежна и существует только на 1921 г., когда Гражданская война уже сходила на нет, — тогда было расстреляно 4337 красноармейцев (30).

Иногда целый народ объявлялся «белым», и это вело к геноциду. Иона Якир, знаменитый красный командир, истребил половину мужского населения донских казаков огнем и расстреливал из пулеметов женщин и детей (31). Красные же казаки объявили «белыми» своих нерусских соседей, калмыков и черкесов, и перебили их. Под личным надзором Дзержинского в Москве расстреливали «контрреволюционеров» списками и категориями. Так погибли скауты и члены лаун-теннисного клуба.

Не все чекисты были мужчины: самыми страшными, особенно в Киеве, Харькове и Одессе, были женщины. Бакинский товарищ Сталина, Розалия Землячка, вместе со своим любовником Белой Куном и с одобрения Ленина убила 50 тыс. белых офицеров, которые поверили обещаниям охранной грамоты командира Фрунзе. По приказу садистки Землячки (которая дожила до пенсии) живых офицеров привязывали парами к доскам и сжигали заживо или топили на баржах недалеко от побережья.

В Одессе особенно боялись двух чекисток: Веры Гребенюковой (по прозвищу «Дора»), которая почти три месяца в 1918 г. увечила заключенных, прежде чем их расстрелять, и «Мопс», латышской садистки, главного палача города. В Киевской ЧК венгерку Ремовер перевели в психиатрическую палату, после того как она начала расстреливать не только заключенных, но и свидетелей. В центральной тюрьме Москвы в 1919 г. женщина-палач любила поднимать осужденных с больничных коек и нагайкой загонять в подвал.

Очень часто палачами ЧК были каторжники, например Янкель-Яков Юровский, который расстрелял Николая II, или единственный чернокожий в ЧК, одессит Джонстон, который заживо сдирал кожу со своих жертв. Некоторые буйные палачи сходили с ума: Саенко в Харькове, у которого была собственная камера пыток, напал на старших офицеров, и его пришлось расстрелять; Магго, главный московский палач, в 1940 г. был уволен из органов, после чего умер от цирроза печени. (Урна с его прахом похоронена на Новодевичьем кладбище.) Если сумасшедший палач был политически заметной фигурой, принимали более гуманные меры: Белу Куна положили в психиатрическую больницу, откуда он выписался, чтобы поступить в кадры Коминтерна. Михаил Кедров, друг и издатель Ленина и двоюродный брат двух членов ЦК, был снят с работы, когда не только утопил пленных белых офицеров в традициях террора Французской революции, но и готовился полностью истребить население Вологды и других северных городов. У Кедрова сумасшествие было наследственное: его отец, скрипач, умер в приюте для душевнобольных. Сын тоже провел время в психиатрической больнице, но потом его восстановили в ЧК, и он продолжал зверствовать у Каспийского моря.

После Гражданской войны он оставил ЧК и, пользуясь своим опытом, стал главой нейрохирургического института, где Берия и арестовал его в 1939 г. (32)

Несомненно, белая армия тоже совершала массовые убийства и террор. Смерть нескольких тысяч красных в плену у финского генерала Маннергейма в начале 1918 г., как и концлагеря, в которых новые эстонское и финское правительства держали большевиков, служили предлогом для мести. На юге России под властью белых случались ужасные зверства, хотя нельзя сказать, что они являлись нормой в белой армии, где служило много принципиальных и хорошо образованных офицеров и местная администрация не всегда теряла этические навыки. Такие сумасшедшие садисты, как барон Роман Унгерн-Штернберг, который уничтожал население Монголии, были исключением. Только украинский «анархист» Махно и некоторые казачьи дивизии систематически творили террор, сравнимый с красным.

Последствием красного террора и Гражданской войны в СССР было появление целого поколения мужчин и женщин, которым массовые аресты и казни были нипочем, казались нормальной, оздоравливающей процедурой. Если геноцид, который случился между 1918 и 1922 гг., на вид менее ужасен, чем холокост Гитлера или геноцид Сталина, то только потому, что ему подвергли не расу, а класс; что большей частью те, кто страдал, были отрезаны от западного мира; что документов нет; что, как любил повторять Сталин, «победителей не судят». (В любом случае можно утверждать, что грипп и тиф унесли куда больше жертв, чем пули чекистов и красноармейцев.) Но главное, никто не каялся в терроре, никто не искупал его, и, как затихшая инфекция, он таился в крови, чтобы вспыхнуть опять через поколение. Те, кто без угрызения совести убивал классовых врагов, ждали наступления времени, когда опять можно будет убивать.

Уму трудно постичь размах геноцида, который развязали Ленин, Троцкий, Дзержинский и Сталин. Можно сравнить демографическую статистику СССР в 1920-х гг. с цифрами, прогнозировавшимися за десять лет перед тем; можно пользоваться надежной переписью населения 1926 г., экстраполируя данные в тех областях, где вели учет рождавшихся и умиравших. С 1914 по 1917 г. почти 3 млн военных и 300 тыс. гражданских лиц погибло на войне. С 1917 по 1920 г. население Европейской России сократилось на 6 млн (5 %): Украина, Белоруссия и Кавказ пострадали примерно так же (33). В больших промышленных центрах смертность давно была выше рождаемости – города росли за счет деревни, откуда вытягивали свежую рабочую силу. В деревне до революции на каждые 60 смертей приходилось 100 рождений. Но с 1917 по 1920 г. и в деревне смертность превышала рождаемость, а в городах смертность удвоилась. Эпидемия и голод унесли еще больше жизней, чем пули. Ленин в декабре 1919 г. заявил, что «или [тифозная] вошь победит социализм, или социализм победит вошь». Туберкулез, кардиологические заболевания, дизентерия, болезни от недоедания, холода и страха опустошали страну.

Во время революции и Гражданской было убито почти 2 млн красноармейцев и чекистов, 0,5 млн белогвардейцев; 300 тыс. украинских и белорусских евреев (жертвы погромов, устроенных украинскими, польскими и белыми войсками); погибло 5 млн голодающих, особенно в Поволжье, в 1921–1922 гг. К этому числу потерь надо прибавить 2 млн русских эмигрантов. В итоге население СССР к концу Гражданской войны оказалось лишенным 10 млн жителей. На самом деле потери были еще больше: в нормальных условиях население должно было бы вырасти за эти пять лет на 5–10 %. К тому же есть основания полагать, что число расстрелянных, повешенных и загнанных в концлагеря гораздо выше, чем показывает официальная статистика (например, 12 тыс. расстрелянных в 1918 г. или 9701 расстрелянный и 21724 заключенных за 1921 г.). Только репрессии после восстаний в Кронштадте или Тамбове в 1921 г. привели к десяткам тысяч казней.

Хуже того, среди убитых солдат преобладала молодежь, а эмиграция лишила страну многих профессионалов в самых различных сферах. Ушли те, кто должен был пахать землю,

приводить фабрики в рабочий порядок и восстанавливать экономику Дзержинский отлично понимал это. Большевиками было фактически загублено два поколения: единственным залогом лучшего будущего были дети, а многие из них стали голодающими беспризорными сиротами. Именно эти дети послужат «сырьем» для сталинского Советского Союза. Не сострадание, а стратегия заставляла ЧК, ГПУ и НКВД заниматься постройкой колоний для бездомных детей. Сиротские дома, детские коммуны и теории воспитания были предметами, интересующими тайную полицию: она создала массу сирот и хотела использовать их (34).

Когда Дзержинский, Ленин или Сталин извинялись за излишние зверства ЧК, они всегда намекали на отсутствие у нее опыта. Матросы, преподаватели, фабричные рабочие не могут-де всегда хранить профессиональное спокойствие и соблюдать законы в таком шквале контрразведки и контртеррора. Но и во всех других сферах государства в послереволюционные годы чувствовалась отчаянная нехватка руководящих кадров. Люди брались за службу, для которой у них не было ни малейшей подготовки или квалификации. Чтобы солдат, врач, кочегар или крестьянин стал чекистом, нужна была только очень кратковременная учеба – требовалось привыкнуть к насилию.

Типичным чекистом мог в равной степени оказаться быстро продвигающийся наверх мальчик из штетла или опустившийся дворянин. Например, Михаил Фриновский был одним из восьми детей довольно зажиточных родителей (отец был преподавателем, мать – помещицей). Так же как у Сталина и Дзержинского, отец у Фриновского был садист, и сын получил образование в семинарии, так что его бунт, может быть, был предопределен. Но юный Фриновский был русским патриотом, причем до такой степени, что солгал о своем возрасте, чтобы воевать в царской армии. Он дослужился до унтер-офицерского звания в кавалерии. Разочарованный бесполезным кровопролитием, дезертировал. Поставив себя вне закона, Фриновский потянулся к анархизму и терроризму: в 1917 г. он с группой бандитов попытался до смерти одного генерал-майора и потом скрылся от розыска, поступив бухгалтером в военную больницу. Большевики сочли его преступления рекомендацией в ЧК. Послужив в Красной армии, Фриновский стал одним из самых лютых чекистов в Москве и оттуда поехал вместе со Сталиным на польский фронт в 1920 г.

Другие чекисты, например Нафтали Френкель, не будь войны, остались бы комбинаторами и жуликами. На верфях и стройках Одессы Френкель разбогател, занимаясь спекуляцией во время войны; как только революция положила конец контрактам на экспорт и импорт, он поступил в ЧК и помог освободить город от белых. Большею частью ЧК расстреливала своих союзников-гангстеров, когда их услуги были уже не нужны, но Френкель был слишком талантливым организатором, чтобы его убивать. Он продолжал спокойно зарабатывать в порту и помогать ЧК, пока Дзержинский не решил навести порядок и не послал Френкеля на далекий север, будто бы арестантом, но де-факто комендантом концлагеря. В конце концов он стал главным организатором строительства Беломорско-Балтийского канала, построенного политзаключенными в начале 1930-х гг.

В ЧК служили тысячи таких фриновских и Френкелей. ЧК рекрутировала людей, которые десятью годами раньше хотели разбогатеть или стать знаменитыми, и потом распределяла их по всему советскому обществу. Тому, кому удавалось преуспеть в ЧК, могли поручить руководство любой разваленной отраслью, экономической или военной. Таким образом палачи и следователи распространялись по всем ветвям администрации, применяя единственные известные им методы к проблемам, которые раньше решали посредством обсуждения и убеждения. С середины 1919 г. Дзержинского, так же как Сталина и Троцкого, Ленин посылал на любой участок фронта, где армия отступала, в любую местность, где можно было реквизировать хлеб для голодающих городов, – словом, туда, где беспощадная вера в насилие на пользу дела могла спасти положение.

Несмотря на постоянную утечку кадров в другие наркоматы, Дзержинскому удалось к середине 1919 г. создать такую всесоюзную ЧК, которая продолжала работать даже в его отсутствие. Его близкие подчиненные – Я. Петерс, М. Лацис, И. Ксенофонов, В. Менжинский и Г. Ягода, особенно двое последних, – были не менее преданы делу, чем он (35). Атмосфера была удивительно дружелюбной для такого змеино-го гнезда; надо признаться, что у руководителей было свое обаяние, и низшие ряды, которые хорошо знали, что к чему, оставались лояльны верхам. Вместе они создали такой миф, что чудовищное кровопролитие казалось благородным подвигом.

Сам Дзержинский считал, что двухлетняя служба в ЧК – это максимум, чего можно было ждать от молодого чекиста; Дзержинский видел только благодеяние в той бойне, которой он управлял. Мартиньш Лацис заявлял:

«Как бы честен ни был человек и каким бы кристально чистым сердцем он ни обладал, работа ЧК, производящаяся при почти неограниченных правах и протекающая в условиях, исключительно действующих на нервную систему, дает себя знать» (36).

Личных сомнений никто словами не выражал, но тела протестовали нервными припадками, головной болью, коликами. Как Троцкий, так и Дзержинский были подвержены истеричным нервным кризисам, после которых нельзя было ни работать, ни общаться. После убийства Мирбаха, когда Дзержинского задержали эсеры, причем он сам обнажил грудь и призвал их расстрелять себя, у него случился такой тяжелый припадок, что, как только его выпустили и эсеров уничтожили, он подал в отставку. Осенью, униженный тем, что ЧК не смогла предупредить покушения на Урицкого и Ленина, Дзержинский обрил голову и с фальшивыми документами на имя польского гражданина Феликса Доманьского поехал в Швейцарию к ничего не подозревающим жене и сыну. Только после отдыха на озере Лугано, где тогда был и не узнавший его Брюс Локкарт, он поправился и вернулся в Россию на свой пост. (Когда швейцарцы выдворили советскую миссию из Берна, Зофия и Яцек поехали вслед за ним в СССР.) С начала 1920 г. при поддержке жены, сестры, невестки и двух племянниц (впрочем, по-прежнему ночеуя у себя в кабинете и питаясь черным хлебом и чаем) Дзержинский выполнял для Ленина целый ряд особых поручений. Эти поручения втягивали его в орбиту Сталина.

Сталин и Дзержинский: тандем

Пока шла Гражданская война, у Сталина на посту наркома по делам национальностей дел было немного. Задачи, стоявшие тогда перед ним и требовавшие выполнения любой ценой, были логистическими – доставка свежих сил и оружия на фронт, зерна – в города, поддержание авторитетом партии репрессивных мер ЧК и Красной армии. В свою первую экспедицию с мая по сентябрь 1918 г. Сталин вместе со своим давнишним другом Климом Ворошиловым отправился в Царицын, чтобы привезти зерно с юга России в Москву и Петроград. При этом они (Ворошилов командовал армией под Царицыном) решили вмешаться в совершенно другое дело – защиту города от белых. Сталин заклеил красного командира Андрея Снесарева (подопечного Троцкого) дезертиром и пособником французских интервентов. Сидя в тылу подальше от дальнобойных орудий белой армии, Сталин и Ворошилов устроили трибунал и судили царицынских офицеров. Приговоренных офицеров сажали на баржи на Волге и расстреливали пулеметами. Сталин взял в свое распоряжение все войска под Царицыном, включая шесть отрядов, следующих в Баку, чтобы спасти большевиков от эсеров и британских интервентов. Поэтому вину за гибель 26 бакинских комиссаров можно отнести на счет Сталина.

Сталина сопровождала его семнадцатилетняя невеста Надежда Аллилуева. Он заставил шурина Федора Аллилуева участвовать в убийстве подозреваемых «спецов», тех бывших царских офицеров, от опыта которых зависела плохо подготовленная Красная армия. Федор Аллилуев сошел с ума. Но Сталин скрепил свой союз с Ворошиловым и с командиром красных казаков Буденным. И Ворошилов, и Буденный питали ненависть к профессиональным офицерам, и эта, долго копившаяся, ненависть выплеснулась через двадцать лет, когда с разрешения Сталина они начали истребление кадров Красной армии.

Сталин при полной поддержке Дзержинского вступил в конфликт с Троцким, который защищал спецов. Как-никак, он являлся главнокомандующим и смог заставить Дзержинского освободить бывших царских офицеров из тюрьмы для службы в Красной армии. (Освобождали с предупреждением, что в случае дезертирства их жены и дети будут расстреляны.) Рассорившись с Троцким, Дзержинский все теснее примыкал к Сталину, который с этого времени начал заменять Троцкого как главного покровителя ЧК.

На ранних этапах революции Дзержинский не раз принимал сторону Троцкого. Когда в январе 1918 г. Ленин сдался и принял германские условия в Брест-Литовске, Дзержинский вслед за Троцким с негодованием отказался поддержать то, что он назвал «капитуляцией всей нашей программы». В отличие от Троцкого, однако, Дзержинский не доверял тем, кто служил при царе: в ЧК он не принимал почти никого, кто работал в дореволюционной тайной полиции.

Та моментальная неприязнь, которую Сталин и Троцкий почувствовали друг к другу в 1913 г. в Вене, перерастала в настоящую вражду, которой положит конец только смерть одного из них. В октябре 1918 г. Троцкий властно пресек вмешательство Сталина:

«Приказываю Сталину немедленно образовать Революционный Совет Южного фронта на основании невмешательства комиссаров в оперативные дела... Неисполнение в течение 24 часов этого предписания заставит меня предпринять суровые меры» (37).

В тот же день Сталин послал длинную жалобу Ленину:

«Дело в том, что Троцкий, вообще говоря, не может обойтись без крикливых жестов... Теперь он наносит новый удар своим жестом о дисциплине, причем вся эта троцкистская дисциплина состоит на деле в том,

чтобы виднейшие деятели фронта созерцали заднюю военных специалистов из лагеря «беспартийных» контрреволюционеров и не мешали бы этим последним губить фронт... В общем дело обстоит так, что Троцкий не может петь без фальцета... Поэтому прошу своевременно, пока не поздно, унять Троцкого и поставить его в рамки, ибо боюсь, что сумасбродные приказы Троцкого, если они будут повторяться, отдавая все дело фронта в руки заслуживающих полного недоверия, так называемых военных специалистов из буржуазии, внесут разлад между армией и командным составом...» (38)

Расстреливая командиров, «чтобы ободрить остальных», как раньше говорили о британском флоте, и Сталин, и Троцкий следовали одной и той же стратегии. Тем не менее стиль их действий и поведения сильно различался. На поезде Троцкого были автомобили, кино-съемка, духовой оркестр; на станции заранее телеграфировали, чтобы запасались сливочным маслом, перепелами и спаржей для комиссара. Расстрелы дезертиров и отступающих офицеров чередовались с бурными речами к рядовым солдатам. Сталин же путешествовал при показном отсутствии всех удобств; бойцов он не хвалил и еще меньше доверял им, полагая, что те нерабочие элементы, которые составляют большую часть армии, в особенности крестьяне, не будут бороться за социализм. Они отказывались добровольно сражаться, и поэтому его задача – заставлять этих людей идти в бой (39).

В конце концов белые, которые осаждали Царицын, не смогли захватить город, но жестокость Сталина нанесла больше вреда его подчиненным, чем врагу. Троцкий даже угрожал Ворошилову полевым судом, и Ленин согласился, сообщив Южной армии, что она может назначить себе любого командира, за исключением Ворошилова. Такое унижение склонило Ворошилова к сближению со Сталиным, от которого теперь зависела его военная карьера. Сталин уже прибрал к рукам двоих, которых Ленин и Троцкий обидели и отвергли, – Ворошилова и Дзержинского.

Когда в конце 1918 г. деморализованные красные отдали белым город, что позволило британским силам объединиться с адмиралом Колчаком, ЦК послал Сталина и Дзержинского в их первую совместную командировку, чтобы наказать и потом сплотить армию. Неразлучные инквизиторы провели весь январь 1919 г. в Вятке – месте первой ссылки Дзержинского. Они проявили такую беспощадность, что к февралю ЦК пришлось распорядиться, чтобы были освобождены еще нерасстрелянные офицеры: «Всех арестованных комиссией Сталина и Дзержинского в 3-й армии передать в распоряжение соответствующих учреждений...» (40)

Впервые Дзержинский увидел фронт: он был потрясен, но решимость осталась прежней – в апреле он писал сестре Альдоне:

«Но ты не можешь понимать меня, солдата революции, воюющего, чтобы в мире больше не было несправедливости, чтобы война не сделала целые миллионы людей добычей богатых завоевателей. Война страшная вещь... Самая убогая нация первой встала на защиту своих прав – и оказала сопротивление целому миру. Хотела бы ли ты, чтобы тут я оставался в стороне?» (41)

На следующий год Дзержинский еще теснее сблизился со Сталиным. Летом, в разгар советско-польской войны, Дзержинские жили на даче под Харьковом с четой, тогда очень близкой к Сталину, – Демьяном Бедным и его женой. В то время как Красная армия выжимала поляков с Украины и гнала их до пригородов Варшавы, Сталин и Дзержинский работали вместе, но опять продемонстрировали Ленину и Троцкому границы своих способностей. В июле 1920 г. Сталин обещал Ленину блестящую победу:

«Теперь, когда мы имеем Коминтерн, побежденную Польшу... было бы грешно не поощрять революцию в Италии... и в таких еще не окрепших государствах, как Венгрия, Чехия... Короче: нужно сняться с якоря и пуститься в путь, пока империализм не успел еще мало-мальски наладить свою разлаженную телегу...» (42)

Несмотря на талант и опыт командующего М. Тухачевского, бывшего царского офицера, красная кавалерия, как за семьсот лет до этого монгольская, через месяц уже завязла в польских лесах и болотах, без палаток, шинелей, под непрерывным дождем. Сталин тем не менее горячо настаивал, чтобы советское правительство отвергло предложение английского премьер-министра Дэвида Ллойда Джорджа посредничать с поляками в поисках перемирия и разграничения по линии Керзона. Сталин полагал, что до начала переговоров надо захватить как можно больше территории. Из-за такой тактики Красная армия истратила последние силы, осаждая Львов. Поляки пошли в контратаку, взяли 100 тыс. пленных и захватили огромную территорию – до Минска в Белоруссии и Каменца-Подольского на Украине. Всю славу получил Пилсудский, а весь позор – Дзержинский и Сталин.

Дзержинский не сомневался, что приедет к Красной армии уже в Варшаве и поможет сформировать польское правительство советского типа. Он забавлял других большевиков – выходцев из Польши, в особенности Карла Радека, своей скромной надеждой на то, что после казни Пилсудского он займет пост министра образования в новой Польше (43). Поражение Красной армии на Висле покончило с этими мечтами. Сталин, Дзержинский и Ворошилов предвкушали победу. Теперь же Дзержинский, как и Ворошилов в 1918 г., оказался связан узами позора со Сталиным. Потрясенный Ворошилов написал Серго Орджоникидзе: «Мы ждали от польских рабочих и крестьян восстаний и революции, а получили шовинизм и тупую ненависть к “русским”» (44).

Троцкий беспощадно издевался над промахами Сталина – через двадцать лет за эти промахи поплатятся жизнью 22 тыс. пленных польских офицеров. Ворошилов на короткое время утратил вкус к командованию, в марте 1921 г. он рядовым воином участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. В ноябре 1921 г. он писал Сталину: «Работа в Военведе мне уже опостылела, да и не в ней теперь центр тяжести. Полагаю, что буду полезней на гражданском поприще... Работу возьму какую угодно и надеюсь снова встряхнуться, а то я здесь начал хиреть (духовно)» (45).

В феврале 1921 г. Красная армия перешла границы Грузии и довела до конца завоевание потерянного ненадолго Закавказья. Те грузинские коммунисты, которые пришли к власти, первоначально не были марионетками Ленина и вели довольно толерантную политику, не арестовывая еще несбежавших членов меньшевистского правительства. Буду Мдивани и Филипп Махарадзе сопротивлялись решению Сталина включить Грузинскую республику в Закавказскую федерацию; хуже того, Сталин вывел Абхазию из-под власти Тбилиси и сделал из нее автономную республику, которой было легче управлять из Москвы. Сталин нередко выражал презрение к своей родине. Он советовал Демьяну Бедному развлечься в Баку, добавляя: «Тифлис не так интересен» (46). Троцкому он говорил:

«Грузины великодержавничают в отношении армян, абхазцев, аджарцев и осетин... Уклон этот, конечно, не так опасен, как уклон к русской великодержавности, но все же он достаточно опасен, и умолчать о нем в тезисах, по-моему, нельзя» (47).

На Кавказе Сталин проявлял такую жестокость, – осенью 1920 г. он руководил кровавой репрессией черкесов и осетин, – что Ленин заметил, что «обрусевшие инородцы» часто «пересаливают по части истинно русского настроения».

Задача справиться с грузинами была поручена Серго Орджоникидзе, который хорошо доказал свою стальную жесткость, расстреливая азербайджанских и армянских националистов, коммунистов и некоммунистов. Когда грузинские коммунисты пожаловались Ленину, Сталин и Орджоникидзе взбесились – последний ударил Мдивани по лицу, за что его обозвали «ишак Сталина». Ленин распек и Орджоникидзе, и Дзержинского, который вместе со Сталиным оправдывал Орджоникидзе:

«Никакой провокацией, никаким даже оскорблением нельзя оправдать этого русского рукоприкладства... Тов. Дзержинский непоправимо виноват в том, что отнесся к этому рукоприкладству легкомысленно... [Грузинское] дело сейчас находится под влиянием Сталина и Дзержинского, и я не могу положиться на их бесстрашие. Даже совсем напротив» (48).

В коротенькой записке – самой последней, продиктованной им, пока атеросклероз не отнял у него дар речи, – Ленин попытался смягчить обиженных грузин: «Всей душой слежу за вашим делом. Возмущен грубостью Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского. Готовлю для вас записки и речь» (49).

У Сталина были личные мотивы, побуждавшие его собирать вокруг себя недовольных и отвергнутых Лениным. Он был одинокой фигурой. У всех других большевиков были свои союзники и доверенные лица – жены, сестры, любовницы. Даже Дзержинского, когда Зоя приехала из Цюриха, заманили в комфортную квартиру в Кремле (его жена нашла себе работу в Наркомпросе). Жены руководителей находили себе влиятельные, хотя на вид скромные, посты в правительстве и в партии. Вторая жена Зиновьева, Лилина, решала важные вопросы школьного образования, а ее брат Ионов хозяйничал над государственными издательствами в Петрограде. Ольга Бронштейн, жена Каменева и сестра Троцкого, хотя сама никогда не ходила в школу, вербовала крупных поэтов, которые должны были обучать пролетариат творчеству; потом заведовала театрами и, наконец, музеем Ленина. Жена Ленина Крупская номинально являлась куратором народного образования: в 1923 г. она издавала инструкции, запрещающие публикацию или преподавание Платона, Канта, Шопенгауэра, Джона Рескина, Ницше и Льва Толстого. Вторая жена Троцкого Наталья Седова заведовала музеями и государственным хранилищем конфискованных ценностей.

Разводы и новые браки связывали наркомов с поэтами, художниками и профессорами, но, несмотря на провозглашение большевиками равенства полов, даже на периферии власти было удивительно мало духовно свободных женщин – таких как Лариса Рейснер, Александра Коллонтай. У жен большевиков (кроме Дзержинского, Калинина и Сталина) были свои салоны, где те интеллигенты, которые еще не эмигрировали или не скрылись, искали протекции. Таким образом, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Радек и Бухарин, не говоря уж о Ленине, стали покровителями, чьи подопечные, друзья, советники, поклонники и просители сплотились – еще до окончания Гражданской войны – в какой-то новый класс привилегированных приживальщиков, революционную интеллигенцию. У этого процесса, конечно, была обратная сторона. Поэтесса Лариса Рейснер, которая флиртовала с Блоком и Мандельштамом и некоторое время жила с Гумилевым, стала, как только вспыхнула революция, сожительницей Федора Раскольникова, командира петроградских матросов, а затем женой самого остроумного и циничного из большевистских руководителей, Карла Радека. Но она никогда не порывала своих связей с миром поэтов и покровительствовала аполитичным аутсайдерам, например Ахматовой и Мандельштаму.

Эти полуреволюционные, полудекадентские буржуазные круги были чужды Сталину. Единственным интеллигентом, с которым Сталин мог говорить по душам, пока не достиг высшей власти, был Демьян Бедный. Девушка, на которой Сталин женился, совсем не годи-

лась в союзницы – она связывала его только с маловлиятельными Аллилуевыми. Даже у подчиненных Сталина, Молотова и Ворошилова, жены обладали более широкими связями.

У Сталина, однако, было одно преимущество, с помощью которого он располагал товарищей к себе, – кавказские контакты. Кроме Серго Орджоникидзе он тепло дружил с Нестором Лакобой, абхазским лидером, знаменитым своей полной глухотой и орлиной зоркостью. При помощи Сталина скромный и хорошо образованный Лакоба отделил свою родину от Грузии и превратил ее в остров благополучия на Кавказе, опустошенном войной. Большевики сознательно терпели политику Лакобы, которая состояла в уклонении от чисток, расстрелов, даже от насаждения социализма, так как только благодаря этому дворцы и особняки на Черноморском побережье еще стояли неразграбленными и неразрушенными. Сталин приглашал Лакобу к себе в Зубалово на дачу (50).

Когда физическое и душевное здоровье Дзержинского ухудшилось и он наконец согласился на ежегодный отпуск, Сталин начал отправлять и его, и других главных чекистов к Лакобе на отдых (51). 25 сентября 1922 г. Орджоникидзе извещал Лакобу:

«Дорогой тов. Лакоба! Могилевский и Атарбеков тебе наверное уже сообщили о том, что тт. Дзержинский, Ягода и другие едут в гости к тебе на два месяца. Надо их поместить в лучшем (чистом, без насекомых, с отоплением, освещением и т. д.) особняке у самого берега моря. Быть во всех отношениях достойными абхазцу гостеприимными хозяевами, в чем у меня нет никакого сомнения. Подробнее расскажет податель сего. Будь здоров. Крепко жму твою руку» (52).

После десятилетий лишений и безвылазного бдения в темных камерах и кабинетах кавказское гостеприимство очаровало даже сурового Дзержинского. Лакоба, который еще пятнадцать лет будет оставаться в фаворе у Сталина, оказался превосходным орудием для управления и даже устранения соперников. Когда стало ясно, что Ленин скоро умрет, Абрам Беленький, кремлевский комендант и близкий товарищ Сталина, организовал поездку Троцкого в Абхазию будто бы для того, чтобы поправить его здоровье. 6 января 1924 г. Беленький инструктировал Лакобу:

«Глубокоуважаемый и дорогой тов. Лакоба.

Врачи запретили тов. Троцкому заниматься и [предписали] немедленно выехать в двухмесячный отпуск для лечения на юг. Мне кажется, что лучшего места, нежели у ВАС в Сухуме, нам уже не подобрать, тем более что врачи как раз настаивают на Сухуме. Считаю, что лучшее место для помещения его будет дача Смицково, то есть там, где Вы в свое время устраивали товарища Дзержинского и Зиновьева. Врачи предписали т. ТРОЦКОМУ полный покой, и несмотря на то, что с т. Троцким поедут наши люди для его охраны, тем не менее очень прошу Вас, дорогой товарищ Лакоба, Вашим метким оком и заботливостью взять тов. Троцкого под Вашу опеку, тогда мы здесь будем совершенно спокойны. Товарищ КАУЗОВ, податель сего письма, является моим комиссаром при тов. Троцком. Он будет вести продовольственными и денежными вопросами, а также охраною. Вашу помощь и товарищеское содействие тов. Каузову я, дорогой товарищ ЛАКОБА, никогда не забуду, и мне думается, что по этому вопросу нам больше нечего говорить, ибо я уверен, что Вы меня поняли во всем. Понятно, что никаких встреч и парадов устраивать не нужно. О дне выезда т. Троцкого сообщу Вам шифром через тов. Могилевского.

Жму крепко Вам Вашу руку и с товарищеским коммунистическим приветом, Ваш Беленький.

Товарищ Каузов передаст Вам фотографии, которые я снял в Зубалове. Сердечный и теплый привет Вам от тов. Дзержинского и Ягоды» (53).

К началу 1924 г. Дзержинский проникся не меньшей, чем Сталин, враждебностью к Троцкому и поэтому активно помогал Сталину отстранять Троцкого от политики. Владимира Антонова-Овсеенко, героя Гражданской войны и поклонника организационного гения Троцкого, Дзержинский поставил на место:

«Вы все только “зарвались”, а партии и революции не преданы... Удержать диктатуру пролетариата... требует от партии величайшего идейного единства и единства действий под знаменем ленинизма. А это значит надо драться с Троцким» (54).

Слабым местом Троцкого была его ипохондрия. Уже не раз Дзержинский устраивал ему лечение, и весной 1921 г. Ленина очень волновали симптомы Троцкого – обмороки, хронический колит, артериальные спазмы, так что политбюро приняло решение: «Предписать т. Троцкому выехать для лечения на дачу, сообразуясь при выборе места и срока с предписанием врачей. Наблюдение за выполнением т. Троцким постановления возложить на т. Дзержинского» (55). Троцкий поехал в Ессентуки (56).

5 января 1924 г., когда борьба за власть внутри советского руководства ожесточилась, Сталин распорядился поставить на повестку дня политбюро вопрос об «отпуске для т. Троцкого». Через неделю, когда Ленину оставалось жить всего трое суток, Дзержинский написал Лакобе, ясно давая понять, что тот должен удержать соперника Сталина подальше от рычагов власти:

«Дорогой товарищ! По состоянию болезни т. Троцкого врачи посылают в Сухум. Это стало широко известно даже за границей, а потому я опасаюсь, чтобы со стороны белогвардейцев не было попыток покушения. Моя просьба к Вам иметь это в виду. Т. Троцкий не будет по состоянию здоровья в общем выезжать из дачи, и потому главная задача не допускать туда посторонних, неизвестных. Прошу Вас по вопросу об охране сговориться и согласовать мероприятия с т. Каузовым. Сердечный Вам и абхазцам коммунистический привет. Ваш Ф. Дзержинский» (57).

Когда умер Ленин, Сталин хитроумно устроил все так, чтобы было как можно меньше прений о переходе власти и чтобы его собственный авторитет не был подорван. Он успокоил левых наследников, Зиновьева и Каменева, создав вместе с ними недолговечную тройку. Либеральных правых он умиротворил назначением Рыкова председателем Совнаркома. Как генеральный секретарь, Сталин держал фактически все бразды правления в руках, и, продвинув Дзержинского на должность председателя Высшего совета народного хозяйства, он распространил свою власть и вне партии. Чекисты тем временем зондировали общественное мнение в стране после смерти Ленина, и Дзержинский смог уверить Сталина, что советский обыватель всего больше боится, как бы воинственный Троцкий не взял власть, не восстановил военный коммунизм и не покончил с нэпом. Благодаря нэпу возрождался мелкий бизнес, и частные предприниматели даже получали государственные концессии; на какое-то время укрепилось право крестьян на обрабатываемую ими землю, а коммерсанты и интеллектуалы даже могли путешествовать за границу. Но некоторые творцы нэпа, особенно Сталин, видели в нем только временное отступление от социализма, которое подготовит население и экономику к следующему этапу строительства коммунизма.

Пока Троцкий скучал на Кавказе, Сталин и Дзержинский позаботились обо всем, начиная от бальзамирования тела Ленина до повестки дня политбюро. Троцкого слишком поздно

осенило, какими гибельными последствиями чреват его отпуск. Сразу после смерти Ленина Сталин продиктовал телеграмму:

«Ягоде – для немедленной передачи т. Троцкому

Сожалею о технической невозможности для Вас прибыть к похоронам. Нет оснований ждать каких-либо осложнений. При этих условиях необходимости в перерыве лечения не видим. Окончательное решение вопроса разумеется оставляем за Вами.

Во всяком случае просим сообщить телеграфно Ваши соображения о необходимых новых назначениях. Сек. ЦК Сталин 22 янв. 1924 17.15» (58).

Троцкий оказался лишен слова в политбюро до очередного, тринадцатого, съезда РКП(б), где было запланировано огласить политическое завещание Ленина. Троцкий надеялся, что в этом «Письме к съезду» Ленин объявляет его законным наследником власти, а Сталина – недостойным этого наследия. До съезда Троцкому приходилось ограничиваться скромными просьбами, например телеграммой: «Считаете ли целесообразным мое немедленное возвращение в Москву, физическое состояние делает возможным участие в закрытых заседаниях, но не в публичных выступлениях» (59).

Дзержинский охотно способствовал политическому обезвреживанию Троцкого. Но когда Сталин подавлял других инакомыслящих внутри партии, Дзержинскому это претило. После перенесенного весной 1923 г. удара потерявший способность речи Ленин уже не представлял собой фигуры, которая объединяла бы разные силы в партии. Ленин, в отличие от Сталина, позволял другим высказываться, прежде чем настаивать на собственных взглядах, и не отличался злопамятностью. Но Сталин не давал Дзержинскому покоя, пока ЧК, уничтожившая другие левые партии, не стала принимать меры, противоречащие ленинскому принципу демократического централизма, и не заглушила все голоса в политбюро, кроме сталинского.

У Дзержинского и ЧК были, конечно, столь же веские, что и у Сталина, причины не терпеть несогласия. ЧК нуждалась в новых заданиях, когда наступил мир, – иначе был риск, что ее разгонят. К осени 1919 г. белые армии окончательно отступили из Центральной России. Хотя кровопролитная война продолжалась еще два года, существование государства уже не подлежало сомнению. Кое-кто задавался вопросом, нужна ли еще ЧК. Дзержинский искал новой сферы полномочий, и 1 мая 1920 г. он добился новых прав для ЧК в мирное время:

Закон дает ЧК возможность административным порядком изолировать тех нарушителей трудового порядка, паразитов и лиц, подозрительных по контрреволюции, в отношении коих данных для судебного наказания недостаточно и где всякий суд, даже самый суровый, их всегда или в большей части оправдает (60).

В марте 1921 г. Зиновьев, возмущенный строптивостью питерских рабочих, просил Дзержинского разослать группы чекистов по всем отраслям профсоюзов, тем самым обессиливая профсоюзы, которые для Троцкого были основой рабочей власти.

Главным товаром у ЧК, когда она имела дело со Сталиным, были сведения. В 1918 г. ЧК интересовало, кто ты, а не что ты думаешь. Теперь контроль над мыслью и речью давал единственную надежду на расширение полномочий и на предотвращение роспуска ЧК. После того как было восстановлено какое-то подобие почтовой службы, ЧК завербовала достаточно перлюстраторов, чтобы перехватывать и читать все письма граждан. Сведения об общественных настроениях (начиная от разговоров в очередях), о недовольных интеллигентах, о ропшущих крестьянах собирались сексотами, чтобы каждую неделю предъявить доклад Сталину и партии. Но настоящие контрреволюционеры уже повывелись, а обыватель

слишком устал, оголодал и отчаялся, чтобы сопротивляться. Хотя рабочие в 1922 г. опять голодали из-за гиперинфляции, столь же страшной, что и в веймарской Германии, – и власти удерживали из их зарплаты деньги на фиктивные зерновые или золотые облигации, – любая местная ЧК могла справиться с протестами.

Сталин нуждался в ЧК, но в ЧК с новым этосом, которая могла бы преследовать его противников. С точки зрения Сталина, единственным недостатком Дзержинского являлась его щепетильность. Дзержинский не любил фабриковать улики или показания; еще меньше он был готов преследовать членов партии, даже когда Сталин указывал, что фракции угрожали партии расколом и что поэтому любые разногласия являются контрреволюционными. Почему энергию Дзержинского перенаправили с ЧК на железные дороги, а потом на восстановление промышленности вообще? Потому что Сталину потребовались услуги более ловких и находчивых и менее принципиальных заместителей Дзержинского в ЧК и (с 1922 г.) Государственном политическом управлении (ГПУ) – Вячеслава Менжинского и Генриха Ягоды.

От ЧК к ГПУ

Чекистов-взяточников, если их ловили, Дзержинский расстреливал; у чекистов, изменивших женам, он удерживал алименты из зарплаты. Но те чекисты, которые расстреливали невиновных или выбивали из арестованных признания, не слышали от него даже мягкого упрека. Решение уральских партийцев и чекистов в июле 1918 г. расстрелять Николая II с семьей не было согласовано с московской ЧК, но убийство было одобрено впоследствии. После гибели царской семьи Горький умолял Ленина (тот будто бы соглашался) покончить с расстрелами. Несмотря на решение Ленина, Петерс приказал ЧК расстрелять великих князей, заключенных в Петрограде, включая безобидного Николая Михайловича, известного историка. Великих князей избили – некоторых пришлось вынести на расстрел на носилках, – раздели догола и расстреляли. Петерса никто ни в чем не упрекал.

Только в случаях массовой фабрикации дел Дзержинский иногда вмешивался. В июне 1921 г. в Себеже, на латвийской границе, один чекист, некий Павлович, выдумал заговор под названием «Вихрь» и арестовал сотню людей на расстрел. Василий Ульрих, который станет главным прокурором в 1930-х гг. и будет помогать Сталину посылать на смерть тысячи людей, вместе с Аграновым, советником Дзержинского по вопросам интеллигенции, пошли на поводу у комбинатора. Только к концу года Дзержинский убедился в фальсификации и расстрелял самого Павловича. Но такие расследования были исключением из правила, и целая серия фиктивных заговоров, выдуманных ЧК, стоила жизни бесчисленным интеллигентам.

В начале 1920 г., не в первый и не в последний раз, в России отменили смертную казнь. Из-за войны с Польшей уже в мае она была восстановлена, но ЧК хотела показать свою гуманность – был издан ошеломляюще лицемерный приказ:

«Приказ № 18630-го декабря 1920

...Арестованные по политическим делам члены разных антисоветских партий часто содержатся в весьма плохих условиях; отношение к ним администрации мест заключения некорректное и зачастую даже грубое.

ВЧК указывает, что означенные категории лиц должны рассматриваться не как наказуемые, а как временно в интересах революции изолируемые от общества и условия их содержания не должны иметь карательного характера.

Председатель ВЧК Ф. Дзержинский. Управляющий делами Г. Ягода» (61).

В 1922 г. смертную казнь отменили еще раз на несколько месяцев, кроме пограничных зон, – и туда-то ЧК перевозила осужденных, чтобы расстреливать их. В СССР только горстка уцелевших интеллигентов-подвижников еще требовала окончательной и полной отмены смертной казни (в царской России интеллигенция сильнее, чем почти в любой другой стране, возмущалась смертной казнью): в 1925 г., в столетний юбилей казни пятерых декабристов, выдающийся толстовец Иван Горбунов-Посадов умолял политбюро:

«Неужели мы встретим десятилетие торжества коммунистов (начавших с отрицания смертной казни) и близящееся столетие Толстого... с расстрелами, с законами о кровавой расправе? Неужели вы будете без конца тащиться в этом отношении бесчеловечным, кровавым, бессмысленным путем, проторенным царской традицией?» (62)

Казалось бы, 1921 год был для ЧК катастрофичен. В марте Совнарком сократил финансирование ЧК на четверть; в ноябре Ленин сузил ее компетенцию до «чисто политических

задач» и поручил Каменеву и Дзержинскому подыскать для ЧК менее репрессивные функции. Ленин решился на это нехотя – его побудили смягчить режим чисто экономические обстоятельства. На одной записке от Каменева Ленин черкнул, имея в виду, вероятно, готовность Каменева пойти на уступки по вопросам безопасности: «Бедненький, слабенький, боязливенький, интимидированный» (63).

6 февраля 1922 г. вышел приказ с ободряющим названием «Об отмене Всесоюзной Чрезвычайной Комиссии и о правилах обысков, конфискации и арестов»: ЧК была преобразована в ГПУ и номинально подчинена наркому внутренних дел. Статистика казней тоже выглядела обнадеживающе: к 1923 г., согласно официальным данным, казни политических преступников сократились с 9701 (в 1920 г.) и 1962 (в 1922 г.) до 414 человек.

Дзержинский управлял ГПУ так же, как ранее ЧК, но даже его ненасытная энергия не находила себе простора. Когда он не болел, то безотрывно занимался восстановлением железных дорог, реквизициями зерна и т. д. Результатом его деятельности стало распространение если не террора, то паники в экономике. Он по привычке ставил революционное чутье выше экономической логики и поэтому часто оказывался на ножах с лучше образованными наркомками, будь то правыми или левыми. Каменев и Рыков, работавшие в Союзе труда и обороны, относились к нему свысока. Железный Феликс и сам чувствовал себя растерянным и обращался к Сталину за поддержкой. 3 августа 1923 г. он писал ему (письмо, кажется, не было отослано): «...Ведь при моем слабом голосе – не достигающем цели – должен подняться голос другой. Но ведь тогда получатся трещины в нашем Советском здании...» (64)

Дзержинский, как и Сталин, был и нетерпелив и некомпетентен в вопросах экономики – для решения хозяйственных проблем он прибегал к возмездию. Когда рабочие жаловались на инфляцию, Дзержинский написал (28 марта 1923 г.) Ягоде и потребовал, чтобы конфисковали собственность всех спекулянтов, владельцев баров, валютчиков и чтобы их выслали из городов. Валютные операции государства сразу прекратились, и валютчиков пришлось отпустить. Дзержинский трудился в поте лица, но с экономистами никогда не ладил. И им трудно было выносить присутствие Дзержинского на обсуждениях:

«Было трудно держать в порядке нить мыслей, следить за возражениями Рыкова и ему отвечать. Мне казалось, что холодные зрачки [Дзержинского] пронизывают меня насквозь, подобно лучам рентгена, и, пронизав, уходят куда-то в каменную стену» (65).

Тем не менее к середине 1920-х гг. поезда ходили, фабрики производили товары, и многие были убеждены, что все эти достижения, несмотря на низкое качество производства, были заслугой самоотверженного Дзержинского. В какой бы сфере ни требовалась встряска, туда назначали Дзержинского. Хотя он не ходил в кино (единственный фильм, «Похороны Ленина», который он смотрел, был заказан им же), он стал председателем кинематографического клуба; безо всякой иронии его избрали председателем Общества межпланетных отношений.

После смерти Ленина, однако, Дзержинский словно осиротел и почувствовал себя уязвимым и одиноким. В длинном письме, протестующем против раскола и фракции Зиновьева и Каменева, адресованном к Орджоникидзе и Сталину, он признался: «Я не теоретик, и я не слепой сторонник лиц – я в жизни своей лично любил только двух революционеров и вождей – Розу Люксембург и Владимира Ильича Ленина – никого больше» (66).

Когда умер Ленин, Дзержинский находился на вершине власти: наконец-то он стал членом (вернее, кандидатом в члены) политбюро. С сентября 1923 г. он стал сопредседателем Объединенного ГПУ. Его привязанность к Сталину вытекала не из личной симпатии, а из панического страха, что без Сталина партия распадется. Немногословный и невозмутимый Сталин казался Дзержинскому и многим другим спокойным центром в отчаянной борьбе

между истерической полемикой левых (Троцкий и его последователи) и правых (Бухарин, Рыков). Левые могли развязать мировой пожар и этим погубить СССР; правые могли отменить диктатуру пролетариата и пойти на какой-то политический компромисс скандинавского типа между капитализмом и социализмом. Дзержинский, фанатичный, но пугливый большевик, не мог не поддерживать Сталина.

Дзержинский был похож на Сталина не только немигающим пронзительным взором; как и Сталин, он не любил оставлять ни малейшей подробности вне своего внимания. Любая мелочь – безбилетники в поездах, коробки спичек, в которых обнаруживалось не 100, а 85 спичек, и т. д. – волновала его больше, чем общая экономическая разруха и финансовый крах Советского Союза в 1923 г. Чем больше Троцкий издевался над Дзержинским, тем теснее тот привязывался к Сталину. Он просил Сталина разрешить ему выслать из страны «спекулянтов, бездельников, пиявок» (67). Троцкий вспоминал:

«Дзержинский был человеком взрывчатой страсти. Его энергия поддерживалась в напряжении постоянными электрическими разрядами. По каждому вопросу, даже второстепенному, он загорался, тонкие ноздри дрожали, глаза искрились, голос напрягался, нередко доходя до срыва» (68).

В своей последней, предсмертной, речи Дзержинский провозглашал: «А вы знаете отлично, моя сила заключается в чем! Я не щажу себя никогда! И поэтому вы все меня любите, потому что вы мне верите».

В период болезни Ленина возникла опасность новой гражданской войны в стране – между армией, которая любила Троцкого, и бюрократией, которая зависела от Сталина. Рядовые члены ОГПУ, являвшего собой одновременно и армию, и бюрократию, колебались. Дзержинский провел собрание кадров ОГПУ. На выступление троцкиста Евгения Преображенского (редактора «Правды» и соавтора «Азбуки коммунизма») он реагировал истерическим криком: «Я вас ненавижу!» Но к этому времени влияние Сталина, несмотря на неприязнь приближенных Ленина, имело под собой основание гораздо более широкое и глубокое, чем у его соперников. Источником непоколебимости Сталина была его тройственная власть: он был генеральным секретарем партии, самым влиятельным членом Оргбюро партии и наркомом по делам национальностей.

Тем временем Дзержинский явно уставал, физически и духовно, путешествуя по всему Советскому Союзу, производя ревизии ОГПУ, железных дорог и хозяйства. Его секретарь Владимир Герсон протестовал против этой перегрузки, но не находил поддержки в помощниках Сталина. В конце 1922 г. Абрам Беленький телеграфировал:

«Омск. Здоровье Дзержинского не хуже, чем в Москве, работы не меньше. Нервничает больше, чаще ругает, так как округ и вообще дела из рук вон плохи. Присутствие Дзержинского здесь необходимо, иначе может наступить полный крах. В докторском освидетельствовании нет нужды, не понимаю, как это ты, Герсон, требуешь освидетельствовать так, чтобы он не знал, научи-ка меня. Отъезд Дзержинского из Сибири был бы для него ударом» (69).

Годы плохого питания, туберкулеза и сердечных заболеваний, не говоря уж о маниакальной работе и постоянных разъездах, роковым образом сказались на здоровье Дзержинского. После смерти Ленина только Менжинский, Ягода и Герсон волновались о том, что Дзержинский не бережет себя. Они искренне любили его – может быть, Дзержинский был единственным чекистом с каким-то обаянием – и грелись в лучах его рыцарского образа. В 1925 г. Сталин приказал Дзержинскому, который был ему уже не нужен, сократить свою рабочую неделю до 35 часов; кремлевские врачи почти принудительно отправили Дзержинского на рентген и взяли у него анализы крови. Вместе с Менжинским (с которым он

был соседом по даче) и с Ягодой Дзержинский поехал в Ессентуки. Врачи предписали теплые души, частые клизмы, кавказскую минеральную воду, сокращенную рабочую неделю и полувегетарианскую диету. Дзержинскому становилось все хуже и хуже. Его собственное отношение к здоровью и к врачам (даже к кремлевской знаменитости Левину) отразилось в одном из последних писем:

«Я всё кашляю, особенно по ночам. Мокрота густая желтая. Просьба дать лекарства для дезинфекции легких и для отклада [sic. – Д.?.] мокроты. Осматривать меня не нужно. Не могу смотреть на врачей и на осмотр не соглашусь. Прошу и не возбуждать этого вопроса» (70).

20 июля 1926 г., произнося несвязную, страстную речь, защищавшую крестьянство против левых и их программы коллективизации, Дзержинский вдруг схватился за грудь и упал. Дома он как будто пришел в себя на два часа, но потом умер. Вскрытие показало, что его артерии были полностью забиты, – как и Ленин, он умер от атеросклероза. Кремлевские врачи не в последний раз ошиблись в диагнозе.

Став председателем ВСНХ, Дзержинский против своей воли должен был признать, что рынку альтернативы нет. В этом он сходилась с Бухариным. Он даже перестал критиковать Троцкого, который уже не был значимой силой, раз ведал только технологией и торговыми концессиями. Дзержинского в последние месяцы жизни осенило, что именно Сталин, который, как ему казалось, был на стороне нэпа, как раз и сломает нэп. Прозрел он слишком поздно. За семнадцать дней до смерти он написал подопечному Сталина, Валериану Куйбышеву:

«Дорогой Валерьян! Я сознаю, что мои выступления могут укрепить тех, кто наверняка поведет партию в сторону гибели, то есть Троцкого, Зиновьева, Пятакова, Шляпникова. Как же мне, однако, быть? У меня полная уверенность, что мы со всеми врагами справимся, если найдем и возьмем правильную линию в управлении на практике страной и хозяйством... Если не найдем этой линии и темпа – оппозиция наша будет расти, и страна найдет тогда своего диктатора – похоронщика революции, – какие бы красные перья ни были на его костюме...» (71)

3. Изысканный инквизитор

В бурные студенческие годы он прославился циническим заявлением на сходке, что ему нет дела до товарищей... Вращаясь сначала среди людей, которые считали, что стыдно заниматься игрой на рояле, когда люди кругом мрут с голоду, Демидов с жаром бросился учиться музыке... Равнодушно встречая насмешки, негодование и брань, Демидов в то же время не был доволен собой. Он хотел добиться полной внутренней свободы, чтобы не быть связанным своими вчерашними поступками и сегодняшним убеждением.

Вячеслав Менжинский. Дело Демидова

Ложная заря

Представим себе, что в январе 1924 г. после смерти Ленина власть большевиков была бы свергнута. Предположим, что выжившие члены политбюро и ОГПУ обвинены в массовых убийствах, предательстве, пытках и грабежах. Адвокаты, вероятно, посоветовали бы Троцкому, Сталину и Дзержинскому признать себя виновными, но при пяти смягчающих обстоятельствах: они занимались свержением несправедливой репрессивной политической системы; они вывели войска из войны, которая уносила миллионы жизней; они защищались от врагов, которые, приди к власти, действовали бы еще хуже; они сражались не с народом, а с иностранцами и с правящей элитой; они руководствовались идеалом справедливого общества без эксплуатации, пользуясь диктатурой как временной мерой. Возможно, судьи нашли бы смягчающие обстоятельства убедительными.

По окончании Гражданской войны в 1921 году в СССР заметно сократилось число казней, ссылок в трудовые лагеря, политических процессов и подавленных бунтов. Нэп дал гражданам пусть и ограниченное, но право заниматься торговлей и даже прибыльной промышленностью. Появилась какая-то гражданская администрация. Вернулись судьи и псевдонезависимая адвокатура. Те улучшения, которые вводились до и после смерти Ленина, могли бы служить доказательством того, что убийства и вопиющая несправедливость 1917–1921 гг. представляли собой не просто средство, при помощи которого большевики решили захватить и не выпускать власть, а неизбежный результат революции и Гражданской войны.

Но если ближе присмотреться к эпохе нэпа, мы увидим, что никакого настоящего послабления режима не было. У власти остались те же люди, и они были готовы теперь растерзать друг друга. Репрессивные учреждения, особенно ОГПУ, на короткое время ужались, но на самом деле перестраивались на профессиональной и постоянной основе. ОГПУ вербовало служащих нового типа: теперь нужно было обезоружить интеллигенцию и буржуазию, и, чтобы достичь этой цели, гэдэушники искали образованных мужчин именно из этих обреченных групп.

Подход к ВРАЙу был деликатный – пули и страх не были преданы забвению, но к этим средствам прибавились награды, лесть, нравственное развращение. ОГПУ развивалось из полувоенной организации, где ценились героизм и насилие, в бюрократическую структуру, которая ставила скрытность, иерархию и систему выше всех революционных идеалов. В соответствии с этой переменной гэдэушники стали присягать не Троцкому и командирам Красной армии, а Сталину и его гражданским сатрапам. Дзержинский уже успел сдвинуть ОГПУ в нужном направлении; его наследник Вячеслав Менжинский по темпераменту, способностям и происхождению гораздо лучше подходил для превращения ОГПУ в главное

орудие, с помощью которого Сталин укрепит свою власть. Целое десятилетие Менжинский управлял ОГПУ, но оставался в тени, речей не говорил, в партии не играл видной роли. Именем Менжинского не нарекали городов, памятников ему не воздвигали – он до сих пор остается чекистом для чекистов, как Хлебников – поэтом для поэтов. Менжинский, которого редко хвалили и еще реже любили даже советские апологеты, заслуживает того, чтобы история предала его позору.

Запоздалое возвышение Вячеслава Менжинского

«Почему Менжинский?» – спросил Ленин, озадаченный тем, что Дзержинский предлагает назначить еще одного поляка, Вячеслава Рудольфовича Менжинского, на пост главы Особой уполномоченной секции (ведущей разведкой и контрразведкой) ЧК. «Кого еще?» – ответил Дзержинский. Ленин знал Менжинского только как дилетанта, одно время «отзови-ста», критиковавшего большевиков. Кем только он не был – юристом, поэтом и прозаиком, революционером, музыкантом, художником, лингвистом, финансистом, дипломатом, – но нигде не преуспел. Выбор Дзержинского казался странным, но оказался гениальным.

Дзержинский назвал его не потому, что Менжинский был соотечественником-поляком или другом. До 1917 г. они встретились лишь однажды в Париже. Правда, в последней анкете, заполненной Менжинским в 1933 г., в графе «национальность» он написал «поляк». Однако его воспитание, образование и язык были русскими. Уже его дед был обрусевшим поляком; отец преподавал историю в Петербургском кадетском корпусе, его литографированные лекции по общей истории зубрили и студенты университета. Мать была образованной идеалисткой, которая помогала толстовцам редактировать полезное чтение для народа.

Детство Менжинского, судя по всему, что мы знаем, было безоблачным. Старший брат Александр стал начальником отделения Особенной канцелярии Министерства финансов (1); как и у Дзержинского, у Вячеслава были преданные и любимые сестры, Вера и Людмила. Сам Вячеслав (он родился в 1874 г.) начал свою карьеру на юридическом факультете. Репутацию себе он подпортил в 1897 г. вызывающей диссертацией «Общинное землевладение в марксистской и народнической литературе». Неудивительно, что два профессора (с замечательной предусмотрительностью анонимно) поставили отметки «неудовлетворительно» и «не подлежит оценке», так как Менжинский цитировал марксистов (иногда запрещенных), предсказывал распад общины и крестьянства вообще и называл общину «тормозом в развитии» (2). Через тридцать лет Менжинский поможет Сталину окончательно уничтожить крестьянство, которое они оба так глубоко презирали.

В начале 1900-х гг. Менжинский имел кое-какую юридическую практику, но затем в нем разгорелось желание литературной славы. Его привлек декадентский круг гомосексуалиста, сатаниста и человека многогранных талантов Михаила Кузмина (всю жизнь Менжинский симпатизировал гомосексуалистам – однажды он заявил, что ненавидит Англию не за капитализм, а за то, что она заточила Оскара Уайльда). В этом кругу Менжинский оставил скромный след. Одновременно он начал интересоваться большевизмом: его мать, Мария Николаевна, дружила с семьей Елены Стасовой, которая сама была близка и к Ленину, и к Сталину в тифлиссские годы. По выходным, как мать и сестры, Менжинский просвещал рабочих и одновременно проповедовал революцию. Сперва власти не обращали на него внимания, так как тогда он вел спокойную жизнь в особняке в Ярославле и работал администратором на железной дороге. По будням дворянин, по воскресеньям большевик, по ночам декадент, Менжинский уже в те годы предстает перед нами многоликой фигурой.

Десять лет Менжинский прожил в браке с Юлией Ивановной, глубоко верующей женщиной, бывшей гувернанткой в семье Нобелей (российской ветви семейства). Ее всю жизнь интересовала теория и практика воспитания детей. Переписка Менжинских с их друзьями Вадимом и Александрой Верховскими в 1900-х гг. – вполне буржуазная, немыслимая для остальных большевиков. Друзья переписывались о службе, о садоводстве, о детях. Только когда Менжинский затрагивает литературу, чувствуется разлад; друзья Менжинского настаивали на сокращении романа, который он писал (и скоро издаст), и, протестуя, Менжинский апеллирует к нищепанскому сверхчеловеку.

В 1905 г. идиллия оборвалась. Менжинский написал Вадиму Никандровичу Верховскому:

«14 февраля умерла моя девочка. В конце января она заболела острым катаром кишок, начала поправляться, я утром рассказал на службе, что опасность миновала, а когда вернулся, Юлия сказала мне, что у девочки внезапно сделался отек мозга и что она безнадежна. Несколько дней ее еще поддерживали... но она так и умерла, не придя в себя, она уже никого не узнавала и не говорила» (3).

Юлия Ивановна заболела, и брак начал распадаться. (Дети остались с матерью, которая посвятила себя педагогике и больше никогда не упоминала мужа) (4). Менжинский уехал из Ярославля; в Петербурге он работал одно время с Лениным и Крупской и, когда в 1906 г. разгромили большевиков, объявил голодовку на две недели – единственный раз, когда он страдал во имя революции. Он выехал за границу – кочевал по Франции, Италии (где преподавал право в партийной школе в Болонье), Великобритании, даже Америке. Он служил в банке и жил на одной улице с историком-марксистом Михаилом Покровским, писал картины (известна, но потеряна его «Леда с лебедем»). Он поддерживал контакт с любимыми сестрами: Людмила помогла ему совершить подпольную поездку по России; Вера приехала в Италию, они вместе гуляли по горным тропам. Смерть Людмилы в 1932 г. явилась для Менжинского глубоким, можно сказать, смертельным ударом.

Поведение Менжинского в 1916 г. должно было бы непоправимо запятнать его репутацию большевика. В парижском эмигрантском журнале «Наше эхо» он ополчился на Ленина за «присвоение» денег, приобретенных путем грабежа. Ленин, по словам Менжинского:

«...это политический иезуит, лепящий из марксизма все, что ему нужно в данный момент... считающий себя единственным претендентом на русский престол, когда тот станет вакантным... Если когда-нибудь он получит власть, то наделает глупостей не меньше Павла... Ленинисты – это секция партийных конокрадов, пытающихся щелканьем кнутов заглушить голос пролетариата».

Тем не менее у Менжинского и Ленина было много общего во взглядах: приятель Менжинского вспоминал, что тот тоже называл крестьянство «скотом», которым надо «пожертвовать ради революции». Конечно, и Ленин, и Сталин знали о выходках Менжинского. Ленин презрительно отмахивался от них, как он всегда отмахивался от критики со стороны тех, кого считал ниже себя. Сталин же покровительствовал тем, кто допускал такие роковые для репутации ошибки. Впрочем, и сам он смотрел на крестьян как на скот, а в Ленине, соответственно, видел погонщика скота.

Из Франции через Великобританию (с трудом, так как английская контрразведка нашла подозрительным беглый английский Менжинского) и Норвегию Менжинский вернулся в Россию весной 1917 г. В событиях Октябрьской революции он не принимал участия. Кажется, он сидел за роялем в Смольном институте и играл вальсы Шопена, пока вокруг него бушевала революционная суматоха. Но и для Менжинского петроградские большевики нашли работу. Они знали, что он и его старший брат имели опыт службы в банках, и теперь бывший мелкий клерк стал наркомом финансов. Ленин застал Менжинского спящим на диване в коридоре; на диван приклеили вывеску «Народный комиссариат финансов».

По словам Троцкого, Менжинскому плохо удавались изъятия банковских фондов в пользу революции. Ленин и Троцкий весной 1918 г. послали его в Берлин в советское посольство, где его образованность оказалась востребованной. Посольство просуществовало семь месяцев, но Менжинский так импонировал своим знанием языков (он говорил на многих европейских и знал несколько восточных языков) и способностью собирать и анализировать

разведданные, что после закрытия посольства германскими властями большевики поручили Менжинскому гораздо более рискованную работу. Большую часть 1919 г. он провел комиссаром народной инспекции в Киеве, где в любой момент мог быть убит белогвардейцами или украинскими националистами. Таким образом Менжинский доказал свое бесстрашие. Он стал третьим (после Дзержинского и Уншлихта) поляком в ЧК.

Менжинский оказался тонким знатоком людей и информации; хороший шахматист, он манипулировал людьми, точно пешками. Это был незаурядный сочинитель заговоров и сценариев. Задолго до смерти Дзержинского Менжинский получил контроль над ГПУ и не терял его до самой смерти в мае 1934 г. Он и нарком иностранных дел Георгий Чичерин (тоже бывший член декадентского кружка Кузмина) были единственными высокопоставленными большевиками, которые походили на банкиров, – костюм с жилеткой, галстук, котелок. Как и Чичерин, Менжинский был хронически болен. Во время ссылки он страдал почечными заболеваниями и грыжей; после автомобильной аварии в Париже у него развился спондилит, и он не мог долго стоять или даже сидеть. Он допрашивал арестованных полулежа на диване под пледом, который его заместитель, Генрих Ягода, заботливо подтыкал ему под ноги. Кроме того, у Менжинского был «кремлевский синдром»: атеросклероз, миокардит, мигрени.

В двадцатые годы без тонкого ума Менжинского Сталин не смог бы победить своих врагов за границей и в СССР; в конце 1920-х – начале 1930-х гг. без беспощадности Менжинского Сталин не смог бы ни навязать народу коллективизацию, ни разыграть показательные судебные процессы. Несмотря на разницу в происхождении и воспитании, у Сталина и Менжинского было настоящее душевное родство. Обоим была присуща спокойная, холодная жестокость; оба не любили говорить громко и подолгу. У Менжинского был почти культ безмолвия; на торжествах по случаю десятилетия революции была намечена сорокаминутная речь Менжинского, но он поднялся на трибуну, сказал: «Главное достоинство чекиста – молчать» – и сошел с трибуны.

Как Сталин и Дзержинский, Менжинский был в молодости поэтом. Если лирика Сталина выдает измученную душу, одержимую войной, колеблющуюся между эйфорией и депрессией, ожидающую неблагодарности и даже яда от тех, кто ей внимает, боящуюся бессильной старости, то герой Менжинского-поэта – это спесивый и развращенный циник. Надо, конечно, учесть, что Сталина впервые опубликовали, когда он был еще подростком, а Менжинский увидел первую публикацию своих стихов тридцатилетним женатым мужчиной.

Опубликованные писания Менжинского позволяют нам углубиться в его психику (5). Его роман «Дело Демидова» (6) появился в 1905 г. в «Зеленом сборнике», который подражал известному английскому декадентскому сборнику «Желтая книга». По соседству с «Делом Демидова» были напечатаны сонеты Михаила Кузмина. Не один критик выделил роман Менжинского как самое лучшее в сборнике. История Василия Петровича Демидова, «очень изящного молодого человека», который дорожит только свободой индивидуальной личности, так же как проза Оскара Уайльда, смешивает разврат и социализм. Главной идеологией героя является нарциссизм. Он красивый молодой адвокат, который по вечерам и по воскресеньям помогает идеалистически настроенным женщинам учить рабочих грамоте, политике и культуре. Но на представлении школьной самодеятельности Демидов шокирует учительниц своими кощунствами и непристойными эротическими стихами. Строгая директриса заведения Елена Игнатьевна Жданова, несмотря на то что она на четырнадцать лет старше его и неодобрительно оценивает его стихи и деятельность, против своей воли влюбляется в Демидова. Очень скоро после свадьбы совместная жизнь оказывается невыносимой для обоих, и Демидов изменяет Елене. Декадентская аморальность сочетается с чекистским бессердечием.

В начале романа Демидов декламирует свои стихи (первую и не последнюю библейскую пародию Менжинского «Богу искушения»:

Видишь, искунитель! Приношу я в жертву
Низанную счастьем жизнь с любезной сердцу,
Горе, все сквозное, с нитями восторгов
Сплошь заткать согласен блесками позора.
Радости опасной дерзостной работы,
Крики одобренья рыцарей свободы,
Солнечную дружбу, теплую доверьем,
Сможешь ли затмить ты мерзостным похмельем?

...бог,
Можешь ли измерить блеск моей свободы,
Бездны притяжение, радость быть собою?
Трусишь? Отступи. Не всякому доступно
Чудное умение в заповедях скучных
Видеть маяки лишь дерзким искушеньям,
Счастья цель – в разлуке, в дружбе – путь к измене.

...испытывающий
Будет! Я решился. Поле за тобою.
Вечную молельню я тебе построю.
Радость! Зазвучали вещие слова:
«В зеркале увидишь образ Божества».

Демидов, этот анти-Иов, влюбляется затем в свою секретаршу. После обид и ссор роман оканчивается неправдоподобно счастливо. Обе женщины живут в квартире Демидова – Елена разбирает тряпье, Анна роняет платья на пол. Все это осуществляет мечту Менжинского о «троих в одной постели», мечту, которая составляет сюжет других стихов, прочитанных Демидовым на школьном концерте:

Я счастлив, я счастлив, я счастлив...
Я дивное выполнил дело:
Под страстным исканьем так страстно
Твое извивается тело!

Смеюсь я, художник великий,
И смехом ты труд мой венчаешь:
Ни слез, ни стыда – только вскрики,
И вздохи, и трепет ты знаешь.

Нет сил! Нас внезапно объемлет
Железное чувство покоя...
Колдунья-мечта лишь не дремлет —
И близится счастье иное.

Пришло! Я увидел другую
Горячим напрягшимся взглядом,

Ее щекочу и целую,
Приник, обнимаю – ты рядом.

Но мы так созвучны, что, темной
Мечты угадав напряженье,
Доверчиво лаской нескромной
Шевелишь ты в друге волнение.

Созвучны! А чуешь ты смену
Любовниц в объятии верном?
О нет! Не проникнут измены —
То больно и сладко безмерно...

Не нужно мне новых объятий,
Я верен подруге случайной,
Мне счастье – не в скучном разврате —
В обмане фантазии тайном.

В подвалах ОГПУ под властью Менжинского извивались тела, но, конечно, без всякого удовольствия для жертвы и даже, может быть, для него самого. Цинизм будущего палача еще более однозначно проявляется в других высказываниях Демидова, например в размышлении о том, что, как судебный следователь, он «вытравил из себя всякую принципиальность... он был последней спицей в колеснице правосудия и не чувствовал на себе никакой вины, если она кого-нибудь давила».

Через два года читающая публика опять встретила имя Менжинского в альманахе «Проталина», где он опубликовался вместе с Александром Блоком и Михаилом Кузминым. Менжинский напечатал две поэмы белыми стихами, пародии на Евангелие, «Иисус» и «Из книги Варавва». Менжинский представляет Христа не мессией, а эпилептиком, обаятельным самоубийцей, который ведет учеников на Голгофу. Для Вифлеема появление Иисуса – катастрофа:

28. [...] Вот пришел Иисус, и даже прокаженные вернулись в город, хоть двоих мы побили камнями. Собралось великое полчище народу, и бесноватые с ними, и нечего стало есть. По улицам ходят подруги Иисусовы, блудницы вифсаидские и самарийские; нельзя нам поднять глаз, чтобы не увидеть наготы их и не оскверниться.

Зато Варавва, убийца сборщиков податей – настоящий герой, любимец толпы, – освобожден Понтием и предательски убит римлянами:

29. Не нашлось никого, кто бы крикнул: «отпусти Иисуса».

30. Но вопила толпа: «отпусти Варавву, а Иисуса распни».

31. И видел Варавва, стоя в толпе, как Иисус влекся на лобное место.

32. И не умер Варавва, как раб, на кресте.

33. Убили его Римляне в пустыне и 50 верных с ним.

34. С мечом в руке пал Варавва, и рыдала об нем Иудея, и Галилея рвала себе волосы, стеноя:

35. «Умер Варавва, гроза нечестивых, сокрушитель Римлян, истребитель сборщиков податей!»

Как и в пьесе Горького «На дне», в стихах Менжинского христианский герой уступает место революционному бандиту (7). Менжинский, как и Сталин, выражает свое недоверие к

неблагодарной толпе. Вообще, читая его стихотворения, легко предвидеть, как Менжинский будет обращаться с теми Христами, Пилатами, Вараввами и Иудами, с которыми ему придется сталкиваться в ОГПУ и против которых – или вместе с которыми – он должен будет работать в Советской России. То, что объединяет Сталина, Дзержинского и Менжинского, – это мессианские идеи и даже, можно сказать, подавленная христианская набожность. Им было мало отвергнуть Бога: они хотели его заменить.

Забросив литературное творчество, Менжинский, как и Сталин, продолжал интересоваться поэзией и решать судьбы поэтов. Оба вмешивались в жизнь и творчество литераторов, выступая покровителями, цензорами или палачами.

В свои первые годы в ЧК и ГПУ, несомненно из-за своего «отзовистского» прошлого, Менжинский не мог заниматься вопросами идеологии – в выкорчевывании эсеров, меньшевиков, анархистов и других инакомыслящих левых он не участвовал. В ЧК, где служило столько безграмотных и нерусских, очень высоко ценили его редкое в этой среде умение сочинить письмо, резолюцию или приговор на хорошем русском языке, сочетающем юридическую точность с поэтическим изяществом. Постепенно, по мере того как ЧК трансформировалась в ОГПУ, Менжинский выходил из-за кулис и становился кому кумиром, кому страшилищем. Те, кого он допрашивал, дивились его согбенному телу, интеллигентным очкам или пенсне, обломовским пледу и дивану. Менжинский любил выставлять напоказ длинные пальцы пианиста; потирал руки от удовольствия, улыбаясь с изысканной вежливостью, даже – или особенно – тогда, когда он посылал собеседника на расстрел.

Репрессии против крестьян и интеллигентов

К весне 1921 г. Гражданская война закончилась, Кавказ был полностью завоеван, Польша и Балтийские государства подписали договоры о мире с СССР. Как и Красная армия, ЧК теперь нашла главного врага в том, за кого она боролась: крестьянство восстало против большевиков. В Поволжье все зерновые запасы были конфискованы отрядами армии и ЧК, чтобы кормить солдат и городских рабочих. Антоновское восстание на Тамбовщине было жестоко подавлено Тухачевским, под руководством Троцкого, и затем крестьян преследовали спецназы Юзефа Уншлихта, под надзором Дзержинского. Расстрелы заложников и бунтовщиков только усугубляли последствия войны и засухи; наступил голод такой страшный, что во многих районах чекистам некого уже было пытаться и казнить.

Московские и петроградские фабрики и гарнизоны бастовали еще до того, как антоновцы были расстреляны или отправлены в лагерь. Хлебный паек был предельно урезан; дров и угля не было. После поражения белых рабочие уже не понимали, почему они должны еще голодать, мерзнуть, сидеть без работы и на военном положении. В марте 1921 г. Кронштадтский гарнизон предъявил требования свободных выборов, свободы слова и передачи земли крестьянам. Кронштадтскую делегацию арестовали, Троцкий и Тухачевский заставили войска подавить мятежников. Петроградская ЧК, не предупредившая мятеж, до того опозорилась своей безалаберностью, что Дзержинский подослал туда из Москвы вместе с Яковом Аграновым поляка Станислава Мессинга, чтобы судить (и очень часто расстреливать) мятежных матросов.

Менжинский при участии Михаила Кедрова составил обращение в ЦК, в котором предупреждал Ленина, Зиновьева и Сталина, что крестьянские мятежи хорошо организованы и что, если условия станут еще хуже, столичные рабочие забастуют в знак солидарности с крестьянством. Кроме того, Менжинский предостерегал, что обласканные Троцким профсоюзы подрывают авторитет партии и что Красная армия становится ненадежным орудием власти. В записке настойчиво говорилось о том, что только собственные силы ЧК, спецназы, еще были годны для восстановления порядка в гарнизонах и на фабриках.

Катастрофа за катастрофой будто бы доказывала правоту ЧК. Менжинский пытался объяснить положение дел Троцкому, которому он уже раньше донес, что Сталин интригует против него. Троцкий резко отклонил советы Менжинского, которого он считал человеком непоследовательным и незначительным. Согласился он с Менжинским только по одному пункту – о том, что Петроградская ЧК тайно сочувствовала кронштадтским повстанцам. В ликвидации Кронштадтского мятежа, однако, Менжинский не сыграл заметной роли; он лишь распорядился об отправке тысячи недовольных моряков в Одессу, в результате чего и там чуть не вспыхнул бунт. Поэтому только через восемь лет Менжинскому снова доверили дело массовых репрессий.

Одной из главных задач Менжинского в начале 1920-х гг. был надзор над интеллигенцией. Весной 1921 г. и Александр Блок, и Федор Сологуб просили выдать им выездные визы (8). Самый мягкий из вождей, Анатолий Луначарский, сам бывший драматург-символист и теперь нарком народного просвещения, был не прочь выдать эти визы и даже выразил сострадание: «Мы в буквальном смысле слова, не отпуская поэта и не давая ему вместе с тем необходимых удовлетворительных условий, замучили его [Блока]» (9). Максим Горький тоже хлопотал за Блока и Сологуба, хотя он и недолго любил их стихи. Но чекисты Менжинский и Уншлихт смотрели на дело очень сурово. Уншлихт жаловался на «совершенно недопустимое отношение Наркомпроса к выездам художественных сил за границу. Не представляется никакого сомнения, что огромное большинство артистов и художников, выезжающих

за границу, являются потерянными для Советской России... Кроме того, многие из них недуг явную или тайную кампанию против нас за границей» (10).

Из двадцати четырех выпущенных за границу девятнадцать (включая Бальмонта) остались там. Менжинский внушал Ленину: «За Бальмонта ручался не только Луначарский, но и Бухарин. Блок натура поэтическая; произведет на него дурное впечатление какая-нибудь история, и он совершенно естественно будет писать стихи против нас. По-моему, выпускать не стоит, а устроить Блоку хорошие условия где-нибудь в санатории» (11). После протестов Луначарского политбюро передумало и 23 июля 1921 г. решило выпустить Блока, но поэт уже умирал. Агония любимого поэта России так смутила политбюро, что оно уже не возражало, когда Андрей Белый, гениальный шарлатан и alter ego Блока, попросил разрешения на выезд в Берлин.

В 1926 г. Менжинский еще раз столкнулся с Луначарским, который хотел разрешить постановку пьесы Булгакова «Дни Турбиных». Только в свои последние годы Менжинский начал защищать писателей. В 1931 г. Кузмин добился от него обещания, что ОГПУ оставит в покое его любовника Юрия Юркуна. (Пока Кузмин был в живых, Юркун действительно оставался на свободе, несмотря на преследование гомосексуалистов Ягодой.)

В Петрограде, однако, ЧК обвинила интеллигенцию в том, что она вдохновляла кронштадтских матросов. Яков Агранов, заместитель Менжинского, сфабриковал из Кронштадтского восстания целый сценарий, первый из большевистских фиктивных заговоров (12). Агранов начал с того, что заманил в Россию матросов, укрывшихся в Финляндии, – чекисты выдавали себя за белогвардейских агентов и тайком приводили матросов в «безопасные» дома в Петрограде. Агранов выдумал «Петроградскую боевую организацию», будто бы возглавлявшуюся интеллигентами. (На самом деле подпольные противники ЧК в Петрограде смогли только взорвать памятники убитым чекистам Моисею Урицкому и Моисею Володарскому-Гольдштейну.) Агранов пользовался услугами провокатора Корвин-Круковского (из известной и уважаемой интеллигентской семьи). Корвин-Круковский выдал себя за недовольного чекиста и уговорил профессора Владимира Таганцева совершить кое-какие запрещенные действия, например развешивание оппозиционных афиш. Агранов арестовал профессора вместе с семьей, включая его пожилого отца, бывшего сенатора, и три десятка других интеллигентов.

Летом 1921 г. состоялась первая удачная репетиция всех тех приемов и процедур террора, которые получают полное развитие в 1930-х гг. ЧК понадобилось 45 дней, чтобы профессор принял ультиматум: признаться во всем и назвать имена всех «заговорщиков» – или пойти на эшафот вместе со всеми арестованными по этому делу. К концу июля ЧК и профессор подписали договор, заканчивающийся пунктом: «Я, Агранов, обязуюсь, в случае исполнения договора со стороны Таганцева, что ни к кому из обвиняемых, как к самому Таганцеву, так и к его помощникам, даже равно как и к задержанным курьерам из Финляндии, не будет применена высшая мера наказания» (13). Таганцева после этого перевели в чистую камеру с душем, улучшили питание; на следующий день он назвал Агранову триста имен, затем провел целый день в машине, объезжая город с чекистами, чтобы уточнить их адреса. Посоветовавшись с Дзержинским и Лениным, Агранов нарушил договор с Таганцевым и приговорил больше ста человек к смерти. Сам Таганцев, профессор-химик Михаил Тихвинский и Николай Гумилев, которого после смерти Блока многие считали не только самым героическим, но и самым великим из живущих русских поэтов, были приговорены вместе с бывшими чиновниками к расстрелу. Обвинить в конспиративной деятельности Гумилева, человека, который никогда не скрывал своих монархических взглядов и который боролся только открыто, было абсурдом.

Объявление приговоров вызвало целый вихрь телефонных звонков, телеграмм и личных визитов к Дзержинскому, Ленину и Крупской в Москве. Крупской удалось кое-кого

спасти, а Ленин отказался спасти Тихвинского, с которым он раньше был на «ты», заметив, что «химия и контрреволюция не исключают друг друга». Напрасно Горький и целый ряд поклонниц хлопотали за жизнь Гумилева; в Петрограде истеричный Зиновьев, который хотел искупить свою оплошность накануне Кронштадта, жаждал крови, и ЧК с особым зверством готовилась к расстрелам. Смертников связали парами и оставили в одной камере на полтора суток без воды, еды, туалета; потом на рассвете их загрузили на грузовики и вывезли на полигон. Все восемьдесят жертв, включая Таганцева и Гумилева, должны были выкопать собственные могилы; потом их раздели догола, расстреляли и похоронили – кого-то заживо, кого-то после умерщвления.

За несколько месяцев перед тем Менжинский с помощниками в Москве чуть мягче и тоньше, чем Агранов, допрашивали так называемый «Тактический центр». Арестованные москвичи, однако, оказались более храбрыми и красноречивыми, чем петроградцы, и отказались торговать своей жизнью или свободой. Обвинялись Александра Львовна Толстая, философ Бердяев, историк Мельгунов; смертные приговоры им были отменены. В Москве Агранов допрашивал, но не судил, и его так пристыдила дочь Толстого, что он полностью растерялся.

В Москве, пародируя законность, прокурором выступал Николай Крыленко, который когда-то был юристом и прославился тем, что большевики назначили его первым главнокомандующим русской армией (после того как солдаты убили царского генерала Николая Духонина, не захотевшего присягнуть советской власти). Летом 1918 г. Крыленко вернулся в юриспруденцию, которую он приспособлял к советской действительности. У него была тяга к макаберному абсурду. Так, он предложил расстрелять адмирала ГЦастного за то, что тот не затопил Балтийского флота, а когда ему напомнили, что большевики только что отменили смертную казнь, ответил: «Ведь мы его не казним, мы его расстреляем». Выступая прокурором в деле «Тактического центра», Крыленко хохотал, когда защитники обличали нелепость обвинений ЧК.

Слишком поздно Агранов, Менжинский и Дзержинский (объяснявший всем, что нельзя освободить крупного поэта и в то же время не освободить всех приговоренных к смерти) поняли, что петроградские казни августа 1921 г. отвратили остальную интеллигенцию не только от сопротивления режиму, но и от сотрудничества с советской властью. Чекисты страшно просчитались, и это – одна из причин, почему через год ЧК преобразовали в ГПУ. Ленин состряпал новый Уголовный кодекс с новой мерой наказания для несогласных – выдворение из СССР. Уже в мае эту меру начали принимать против тех интеллигентов, которых комитет (в состав которого входили Ленин, Дзержинский, Менжинский и Уншлихт) сочтет нежелательными. Тогда Сталин был занят кровавыми репрессиями в Средней Азии и «подтягиванием» грузинских товарищей – против такого послабления он не возражал. Даже кровожадный Зиновьев чуть-чуть успокоился: «Мы прибегаем сейчас к гуманной мере, мы сумеем обнажить меч» (14).

До 1922 г. выдворение было добровольным: первые разрешения на выезд получили еврейские писатели, например Хаим Бялик, которые предпочитали писать на иврите. Евреев поощряли писать по-русски, разрешали писать на идише, но иврит, как язык сионистского движения, был запрещен Лениным в 1920 г. В Москве задержали сотню (и посадили девятнадцать) делегатов на съезд сионистов. Шурин Троцкого по первому браку и член группы писателей, писавших на иврите, Илья Соколовский попросил у Троцкого билет «из того рая, который ты строишь». Хаим Бялик как-то добрался через Украину, опустошенную войной, до Москвы к Горькому и добился от Ленина виз, благодаря которым литература на иврите переместилась из России в Палестину.

Не только угрозы и пули ЧК, но и голод проредил ряды независимо мыслящих интеллигентов: от голода умерли семь академиков, среди них знаменитый математик Александр

Ляпунов и языковед Алексей Шахматов. Единственным академиком, который получал дополнительный паек, был нобелевский лауреат Иван Павлов, так как его опыты вивисекции считались большевизмом в науке. Ленина бесили «профессора и писатели... контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи» (15). Еще 15 сентября 1919 г. он написал Горькому об интеллигенции: «Пособники, интеллигентки, лакеи капитала, мнящие себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно». Письмо к Дзержинскому от 19 мая 1922 г. явилось сигналом к наступлению на интеллигенцию. Через девять дней, однако, Ленина постиг второй удар. Едва научившись заново пользоваться карандашом, Ленин 17 июля 1922 г. несвязно, но непреклонно писал Сталину:

«...Решено ли “искоренить” всех энесов [народных социалистов. – Д. Р.]?.. По-моему, всех выслать. Вреднее всякого эсера, ибо ловчее... Меншевики Розанов (врач, хитрый)... С.Л. Франк (автор «Методологии»). Комиссия под надзором Манцева, Мессинга [двух высокопоставленных деятелей ГПУ. – Д. Р.] должна представить списки, и надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. Очистим Россию надолго.

...Делать это надо сразу. К концу процесса эсеров, не позже. Арестовать несколько сот и без объявления мотивов – выезжайте, господа!

Всех авторов “Дома литераторов”, питерской “Мысли”; Харьков обшарить, мы его не знаем, это для нас “за границей”» (16).

Ленин послал списки тех «активных» антисоветских интеллигентов, имена которых он еще мог припомнить, Менжинскому и Уншлихту. Ленин просил Каменева и Уншлихта дать еще больше фамилий. Редакторы академических журналов, которые предоставляли своим сотрудникам слишком широкую свободу; врачи, которые на съездах соблюдали дореволюционные традиции свободы речи; экономисты и агрономы, которые выражали собственные мысли насчет фабрик и земли, – всем им пришлось уехать. Умиравший вождь ссылал самых известных врачей точно так же, как Сталин их через тридцать лет приговорит к пыткам и казням.

4 сентября 1922 г. Дзержинский обсудил с Лениным список жертв и поручил Уншлихту просмотреть все научные и литературные журналы в поисках сомнительных писателей. Ни он, ни Уншлихт не были достаточно сведущи в русской философии и литературе, чтобы выявить, кого выдворить, а кого оставить. К тому же любитель поэзии Агранов уехал далеко. Дзержинский сдался и приказал Уншлихту:

«Мне кажется, что дело не двинется, если не возьмет этого на себя сам т. Менжинский. Переговорите с ним, дав ему эту записку.

Необходимо выработать план, постоянно корректируя его и дополняя. Надо всю интеллигенцию разбить по группам.

Примерно:

1) Беллетристы, 2) Публицисты и политики, 3) Экономисты (здесь необходимы подгруппы): а) финансисты; б) топливники; в) транспортники; г) торговля; д) кооперация и т. д.; 4) техники (здесь тоже подгруппы): а) инженеры; б) агрономы; в) врачи; г) генштабисты и т. д.; 5) профессора и преподаватели и т. д. и т. д.

Сведения должны собираться всеми нашими отделами и стекаться в отдел по интеллигенции. На каждого интеллигента должно быть дело; каждая группа и подгруппа должна быть освещена всесторонне компетентными товарищами, между которыми эти группы должны распределяться нашим отделом... Надо помнить, что задачей нашего отдела

должна быть не только высылка, а содействие выпрямлению линии по отношению к спецам, то есть внесение в их ряды разложения и выдвигание тех, кто готов без оговорок поддержать Советскую власть» (17).

Осенью 1922 г. сливки московской интеллигенции были собраны на Лубянке (такие же облавы имели место в Петрограде, Казани, Минске, Киеве). Операция проводилась безалаберно. Уншлихт жаловался Сталину на то, что «строгая конспирация была нарушена» и часть напуганной профессуры разъехалась на летние каникулы (18). К тому же киевское ГПУ плохо разбиралось в политических взглядах местной интеллигенции. Большинству задержанных вынесли обвинения в контрреволюционной деятельности; кое-кого вычеркнули из списков, кое-кого внесли в другой список, как необходимых советским учреждениям спецов. ОГПУ не удалось проследить всех, кого оно разыскивало, другие же уже сидели в ожидании «суда» по политическим обвинениям. Не все задержанные понимали, как им повезло: те, кому разрешили остаться на родине, погибли через пятнадцать лет. К концу сентября Генрих Ягода сделал все необходимое, чтобы выслать 130 человек в Германию. Напрасно германский канцлер протестовал, заявляя, что «Германия – не Сибирь»; германский консул в Москве выдал визы всем ссыльным, которые, разумеется, без исключения заявили, что выезжают по собственной воле. Ученые люди, лишённые своих книг и рукописей, собрались в петроградском порту.

Те два парохода, которые отплыли в Штеттин, везли на Запад самый щедрый подарок от России. Без Трубецкого и Якобсона на Западе не было бы структурной лингвистики; без Николая Бердяева не было бы христианского экзистенциализма. Историки Мельгунов и Кизеветтер внесли огромный вклад в европейскую историографию. Русская академия в Праге и Сорбонна в Париже обогатились этим выдворением. Со своей стороны, Советский Союз лишился некоторых своих самых блестящих талантов, а те, кто остался, сделали нужные выводы и ушли в себя. Для советского гражданского общества высылка 1922 г. оказалась не менее катастрофичной, чем казни 1921 г.

Обсуждая смысл жизни с красноречивыми и самоуверенными арестантами, ГПУ быстро повысило свой культурный уровень. Когда Дзержинский, Менжинский и Лев Каменев допрашивали Николая Бердяева, вместо уклончивых ответов они получили целую лекцию. Дзержинский был ошеломлен и пробормотал в ответ: «Можно быть материалистом в теории и идеалистом в жизни, или наоборот, идеалистом в теории и материалистом в жизни». Затем он приказал Менжинскому достать мотоцикл, на котором Бердяева отвезли домой. Все лето и всю осень московские и петроградские чекисты подвергались испытаниям на прочность своей веры в большевистский строй и идеалы. Когда Менжинский сказал Мельгунову, что тот больше не увидит России, историк ответил: «Я вернусь через два года, дольше не выдержите». Менжинский задумался и сказал: «Нет, я думаю, что мы продержимся еще шесть лет».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.